



МИГЕЛЬ

«Кто много читает и много ходит, тот много видит и много знает.»

ДЕ СЕРВАНТЕС СААВЕДРА

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

ТОМ II

*ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО
ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Мигель де Сервантес Сааведра

**Хитроумный идальго Дон
Кихот Ламанчский. Т. II**

«ФТМ»

«Издательство АСТ»

1615

УДК 821.134.1-31
ББК 84(4Исп)-44

Сервантес Сааведра М.

Хитроумный идалго Дон Кихот Ламанчский. Т. II /
М. Сервантес Сааведра — «ФТМ», «Издательство АСТ»,
1615 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-102867-1

Свой лучший роман «Хитроумный идалго Дон Кихот Ламанчский», с которого началась эра новейшего искусства, Мигель де Сервантес Сааведра (1547-1616) начал писать в тюрьме. Автор бессмертной книги прожил жизнь великого воина, полную приключений и драматических событий. Свой роман Сервантес адресовал детям и мудрецам, но он слишком скромно оценил свое великое творение, и рыцарь Печального образа в сопровождении своего верного оруженосца продолжает свое нескончаемое путешествие по векам и странам, покоряя сердца все новых и новых читателей. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.134.1-31

ББК 84(4Исп)-44

ISBN 978-5-17-102867-1

© Сервантес Сааведра М., 1615

© ФТМ, 1615

© Издательство АСТ, 1615

Содержание

Часть II	6
Посвящение графу Лемосскому	6
Пролог	7
Глава I	9
Глава II,	16
Глава III	19
Глава IV,	24
Глава V	27
Глава VI	31
Глава VII	35
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Мигель де Сервантес Сааведра **Хитроумный идалго Дон** **Кихот Ламанчский. Т. II**

Miguel de Cervantes Saavedra

EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA

© Перевод. Н. Любимов, наследники, 2017

© Перевод стихов. Н. Эристави, 2017

© Издание на русском языке AST Publisher, 2017

Часть II

Посвящение графу Лемосскому

Посылая на днях Вашему сиятельству мои комедии, вышедшие из печати до представления на сцене, я, если не ошибаюсь, писал, что Дон Кихот надевает шпоры, дабы явиться к Вашему сиятельству и облобызать Вам руки. А теперь я уже могу сказать, что он их надел и отправился в путь, и если он доедет, то, мне думается, я окажу этим Вашему сиятельству некоторую услугу, ибо меня со всех сторон торопят как можно скорее его прислать, дабы прошли тошнота и оскомины, вызванные другим Дон Кихотом, который надел на себя личину второй части и пустился гулять по свету. Но кто особенно, по-видимому, ждет моего Дон Кихота, так это великий император китайский, ибо он месяц тому назад прислал мне с нарочным на китайском языке письмо, в котором просит, вернее сказать умоляет, прислать ему мою книгу: он-де намерен учредить коллегия для изучения испанского языка и желает, чтобы он-де язык изучался по истории Дон Кихота. Тут же он мне предлагает быть ректором помянутой коллегии. Я спросил посланца, не оказало ли мне его величество какой-либо денежной помощи. Тот ответил, что у его величества и в мыслях этого не было.

«В таком случае, братец, – объявил я, – вы можете возвращаться к себе в Китай со скоростью десяти, а то и двадцати миль в день, словом, с любой скоростью, мне же не позволяет здоровье в столь длительное пускаться путешествие, и мало того, что я болен, но еще и сижу без гроша; однако же что мне императоры и монархи, когда в Неаполе есть у меня великий граф Лемосский, который без всяких этих затей с коллегией и ректорством поддерживает меня, покровительствует мне и оказывает столько милостей, что большего и желать невозможно».

На этом я с посланцем простился, и на этом я прощаюсь и с Вашим сиятельством, давая обещание преподнести Вам Странствия Персилеса и Сихизмунды, книгу, которую я Deo volente¹ спустя несколько месяцев закончу, каковая книга, должно полагать, будет самой плохой или же, наоборот, самой лучшей из всех на нашем языке писанных (я разумею книги, писанные для развлечения); впрочем, я напрасно сказал: самой плохой, ибо, по мнению моих друзей, книге моей суждено невозможного достигнуть совершенства. Возвращайтесь же, Ваше сиятельство, в желанном здравии, и к тому времени Персилес будет уже готов облобызывать Вам руки, я же, слуга Вашего сиятельства, припаду к Вашим стопам. Писано в Мадриде, в последний день октября тысяча шестьсот пятнадцатого года.

*Слуга Вашего сиятельства
Мигель де Сервантес Сааведра*

¹ С божьей помощью (лат.).

Пролог

К ЧИТАТЕЛЮ

Господи боже мой! С каким, должно полагать, нетерпением ожидаешь ты, знатный, а может статья, и худародный, читатель, этого пролога, думая, что найдешь в нем угрозы, хулу и порицания автору второго *Дон Кихота*, который, как слышно, зачат был в Тордесильясе, а родился в Таррагоне! Но, право же, я тебе этого удовольствия не доставлю, ибо хотя обиды и пробуждают гнев в самых смиренных сердцах, однако ж мое сердце составляет исключение из этого правила. Тебе бы хотелось, чтобы я обозвал автора ослом, дураком и нахалом, но я этого и в мыслях не держу: он сам себя наказал, ну его совсем, мне до него и нужды нет. Единственно, что не могло не задеть меня за живое, это что он назвал меня стариком и безруким, как будто в моей власти удержать время, чтобы оно нарочно для меня остановилось, и как будто я получил увечье где-нибудь в таверне, а не во время величайшего из событий, какие когда-либо происходили в век минувший и в век нынешний и вряд ли произойдут в век грядущий. Если раны мои и не красят меня в глазах тех, кто их видел, то, во всяком случае, возвышают меня во мнении тех, кто знает, где я их получил, ибо лучше солдату пасть мертвым в бою, нежели спастись бегством, и я так в этом убежден, что, если бы мне теперь предложили воротить прошедшее, я все равно предпочел бы участвовать в славном этом походе, нежели остаться невредимым, но зато и не быть его участником. Шрамы на лице и на груди солдата – это звезды, указывающие всем остальным, как вознестись на небо почета и похвал заслуженных; также объявляю во всеобщее сведение, что сочиняют не седины, а разум, который обыкновенно с годами мужает. Еще мне было неприятно, что автор называет меня завистником и, словно неучу, объясняет мне, что такое зависть; однако ж, положи руку на сердце, могу сказать, что из двух существующих видов зависти мне знакома лишь зависть святая, благородная и ко благу устремленная, а значит, и не могу я преследовать духовную особу, да еще такую, которая состоит при священном трибунале; и если автор в самом деле говорит о лице, которое имею в виду я, то он жестоко ошибается, ибо я преклоняюсь перед дарованием этого человека и восхищаюсь его творениями, равно как и той добродетельной жизнью, какую он ведет неукоснительно. Впрочем, я признателен господину автору за его суждение о моих новеллах: хотя они, мол, не столь назидательны, сколь сатиричны, однако же хороши, а ведь их нельзя было бы назвать хорошими, когда бы им чего-нибудь недоставало.

Пожалуй, ты скажешь, читатель, что я чересчур мягок и уж очень крепко держу себя в границах присущей мне скромности, но я знаю, что не должно огорчать и без того уже огорченного, огорчения же этого господина, без сомнения, велики, коли он не осмеливается появиться в открытом поле и при дневном свете, а скрывает свое имя и придумывает себе родину, как будто бы он был повинен в оскорблении величества. Если случайно, читатель, ты с ним знаком, то передай ему от моего имени, что я не почитаю себя оскорбленным: я хорошо знаю, что такое дьявольские искушения и что одно из самых больших искушений – это навести человека на мысль, что он способен сочинить и выдать в свет книгу, которая принесет ему столько же славы, сколько и денег, и столько же денег, сколько и славы; и мне бы хотелось, чтобы в доказательство ты, как только можешь весело и забавно, рассказал ему такую историйку.

Был в Севилье сумасшедший, который помешался на самой забавной чепухе и на самой навязчивой мысли, на какой только может помешаться человек, а именно: смастерив из остроконечной тростинки трубку, он ловил на улице или же где-нибудь еще собаку, наступал ей на одну заднюю лапу, другую лапу приподнимал кверху, а засим с крайним тщанием вставлял ей трубку в некоторую часть тела и дул до тех пор, пока собака не становилась круглой, как мяч;

доведя же ее до такого состояния, он дважды хлопал ее по животу и, отпустив, обращался к зевакам, коих всегда при этом собиралось немало: «Что вы скажете, ваши милости: легкое это дело – надуть собаку?» – Что вы скажете, ваша милость: легкое это дело – написать книгу?

Если же, друг читатель, сия историйка не придется автору по сердцу, то Расскажи ему другую, тоже про сумасшедшего и про собаку.

Был в Кордове другой сумасшедший, который имел обыкновение носить на голове обломок мраморной плиты или же просто не весьма легкий камень; высмотрев зазевавшуюся собаку, он к ней подкрадывался, а затем что было силы сбрасывал на нее свой груз, после чего разобиженная собака с воем и визгом убегала за три улицы. Но вот как-то раз случилось ему сбросить камень на собаку шапочника, который очень ее любил. Камень угодил ей в голову, ушибленная собака завывала, хозяин, увидев и услышав это, схватил аршин, бросился на сумасшедшего и не оставил на нем живого места; и при каждом ударе он еще приговаривал: «Вор-собака! Это ты так мою гончую? Не видишь, подлец, что моя собака – гончая?» И, раз двадцать повторив слово *гончая* и сделав из сумасшедшего котлету, он наконец отпустил его. Получив хороший урок, сумасшедший скрылся и больше месяца на людных местах не показывался, но потом, однако ж, возвратился все с тою же выдумкою и с еще более тяжелым грузом. Он подходил к собаке, нацеливался, но, так и не решившись и не осмелившись сбросить на нее камень, говорил: «Это гончая, воздержимся!» И про всякую собаку, какая бы ему ни попадалась, будь то дог или же шавка, он говорил, что это гончая, и не сбрасывал на нее камня. Нечто вроде этого, должно полагать, случится и с нашим сочинителем, и он не отважится более сбрасывать на бумагу твердые, как камень, плоды своего гения, ибо кому охота стараться разгрызть плохую книгу!

Скажи ему еще, что его угроза лишиться меня дохода изданием книги своей не стоит медного гроша, и, применяя к себе славную интермедию *Перенденга*, я могу ему ответить, что, мол, бог не без милости, и да здравствует, мне на радость, сеньор мой Двадцать Четыре. Да здравствует граф Лемосский, коего христианские чувства и хорошо известная щедрость ограждают меня от всех ударов злой судьбы, и да здравствует, на радость мне, добросердечнейший дон Бернардо де Сандоваль-и-Рохас, архиепископ Толедский, а там пусть хоть не останется на свете ни одной печатни, и пусть против меня печатают больше книг, нежели в строфах Минго Ревульго содержится букв. Эти двое владык без малейшего с моей стороны искательства или же раболепства, единственно по доброте своей, взялись мне покровительствовать и оказывать милости, и поэтому я почитаю себя счастливее и богаче, чем если бы Фортуна вознесла меня путем обычным. Честь может быть и у бедняка, но только не у человека порочного: нищета может омрачить благородство, но не затемнить его совершенно, а как добродетель излучает свой свет даже сквозь щели горькой бедности, то ей удается заслужить уважение умов возвышенных и благородных, а с тем вместе и их благорасположение. И больше, читатель, не говори автору ничего, а я ничего больше не скажу тебе, – прими только в соображение, что предлагаемая вторая часть *Дон Кихота* скроена тем же самым мастером и из того же сукна, что и первая, и в ней я довожу Дон Кихота до конца, до самой его кончины и погребения, дабы никто уже более не заводил о нем речи, ибо довольно и того, что уже сказано, довольно и того, что свидетельствует о разумных его безумствах человек честный, и нечего сызнова к ним возвращаться: ведь когда чего-нибудь слишком много, хотя бы даже хорошего, то оно теряет цену, а когда чего-нибудь недостает, хотя бы даже плохого, то оно как-то все-таки ценится. Забыл тебе сказать, чтобы ты ожидал *Персилеса*, которого я теперь оканчиваю, а также вторую часть *Галатеи*.

Глава I

О разговоре, который священник и цирюльник вели с Дон Кихотом касательно его болезни

Во второй части этой истории, повествующей о третьем выезде Дон Кихота, Сид Ахмет Бен-инхали рассказывает, что священник и цирюльник почти целый месяц у него не бывали, чтобы не вызывать и не воскрешать в его памяти минувших событий; однако ж они заходили к племяннице и ключнице и просили заботиться о нем и давать ему что-нибудь питательное и полезное для сердца и мозга, где, вне всякого сомнения, и коренится, дескать, все его злополучие. Женщины объявили, что они так и делают и будут делать с крайним тщанием и готовностью: они, мол, уже замечают, что временами их господин обнаруживает все признаки здравого мысля, чему те двое весьма обрадовались, а также тому, как ловко они придумали – привезти его, заколдованного, на волах, о каковой их затее повествуется в последней главе первой части этой столь же великой, сколь и достоверной истории; и по сему обстоятельству положили они навестить его и убедиться воочию, подлинно ли ему лучше, что казалось им, впрочем, почти невероятным, и уговорились между собою не дотрагиваться до этой его еще свежей и столь странной раны, а о странствующем рыцарстве даже не заикаться.

Итак, они пришли к нему и застали его сидящим на постели в зеленом байковом камзоле и в красном толедском колпаке; и был он до того худ и изможден, что походил на мумию. Он принял их с отменным радушием; они осведомились о его здоровье, и он рассказал им о себе и о своем здоровье весьма разумно и в самых изысканных выражениях; наконец речь зашла о так называемых государственных делах и образах правления, причем иные злоупотребления наши собеседники искореняли, иные – осуждали, одни обычаи исправляли, другие – упраздняли, и каждый чувствовал себя в это время новоявленным законодателем: вторым Ликургом или же новоиспеченным Солоном; и так они все государство переиначили, что казалось, будто они его бросили в горн, а когда вынули, то оно было уже совсем другое; Дон Кихот же обо всех этих предметах рассуждал в высшей степени умно, и у обоих испытателей не осталось сомнений, что он совершенно здоров и в полном разуме.

При этой беседе присутствовали племянница и ключница и неустанно благодарили бога за то, что их господин вполне образумился; однако ж священник, изменив первоначальному своему решению не касаться рыцарства, пожелал окончательно удостовериться, точно ли Дон Кихот выздоровел, или же это выздоровление мнимое, и для того исподволь перешел к столичным новостям и, между прочим, передал за верное, что султан турецкий с огромным флотом вышел в море, но каковы его замыслы и где именно ужасная сия гроза разразится – этого-де никто не знает; и что-де, мол, снова, как почти каждый год, весь христианский мир пребывает в страхе и бьет тревогу, а его величество повелел укрепить берега Неаполя, Сицилии и острова Мальты. Дон Кихот же на это сказал:

– Укрепив заблаговременно свои владения, дабы неприятель не застигнул его врасплох, его величество поступил как предусмотрительнейший воин. Однако ж, обратись его величество за советом ко мне, я бы ему посоветовал принять такие меры предосторожности, о которых он ныне, верно, и не подозревает.

Выслушав его, священник сказал себе: «Да хранит тебя господь, бедный Дон Кихот! Сдается мне, что ты низвергаешься с высот безумия в пучину простодушия!» Но тут цирюльник, подумавший то же самое, что и священник, спросил Дон Кихота, какие именно меры предосторожности он почитает за нужное принять: может статься, они-де относятся к разряду тех многочисленных нелепых предложений, какие обыкновенно делаются государям.

– Мое предложение, господин брадобрей, вовсе не нелепо, а очень даже лепо, – сказал Дон Кихот.

– Да я ничего и не говорю, – отозвался цирюльник, – но только ведь опыт показывает, что все или же большая часть проектов, которые поступают к его величеству, неосуществимы, бессмысленны или же вредны и для короля и для королевства.

– Ну, а мой проект не неосуществим и не бессмыслен, – возразил Дон Кихот, – напротив того: никакому изобретателю не изобрести столь удобоисполнимого, целесообразного, остроумного и краткого проекта.

– Так поделитесь же им, сеньор Дон Кихот, – молвил священник.

– Мне бы не хотелось излагать его сейчас, – признался Дон Кихот, – иначе он завтра же достигнет ушей господ советников, и благодарность и награду за труд получу не я, а кто-нибудь другой.

– Что до меня, – сказал цирюльник, – то вот вам крест, ваша милость, я никому не скажу: ни королю, ни ладье и ни одному живому человеку, – эту клятву я взял из романа об одном священнике, который в начале мессы указал королю на вора, укравшего у того священника сто дублонов и быстрого мула.

– Историй этих я не знаю, – сказал Дон Кихот, – однако ж полагаю, что клятва верная, ибо сеньор цирюльник – человек честный.

– Даже если б он и не был таковым, – вмешался священник, – я за него ручаюсь и даю гарантию, что в сем случае он будет нем, как могила, иначе с него будут взисканы пеня и неустойка.

– А за вашу милость, сеньор священник, кто поручится? – осведомился Дон Кихот.

– Мой сан, обязывающий меня хранить тайны, – отвечал священник.

– Ах ты, господи! – вскричал тут Дон Кихот. – Да что стоит его величеству приказать через глашатаев, чтобы все странствующие рыцари, какие только скитаются по Испании, в назначенный день собрались в столице? Хотя бы даже их явилось не более полдюжины, среди них может оказаться такой, который один сокрушит всю султанову мощь. Слушайте меня со вниманием, ваши милости, и следите за моею мыслью. Неужели это для вас новость, что единственный странствующий рыцарь способен перерезать войско в двести тысяч человек, как если бы у всех у них было одно горло, или же если б они были сделаны из марципана? Нет, правда, скажите: не на каждой ли странице любого романа встречаются подобные чудеса? Даю голову на отсечение, свою собственную, а не чью-нибудь чужую, что живи ныне славный дон Бельянис или же кто-либо из многочисленного потомства Амадиса Галльского, словом, если б кто-нибудь из них дожил до наших дней и переведался с султаном, – скажу по чести, не хотел бы я быть в шкуре султановой! Впрочем, господь не оставит свой народ и пошлет ему кого-нибудь, если и не столь грозного, как прежние странствующие рыцари, то уж, во всяком случае, не уступающего им в твердости духа. Засим господь меня разумеет, а я умолкаю.

– Ах! – воскликнула тут племянница. – Убейте меня, если мой дядюшка не задумал снова сделаться странствующим рыцарем!

Дон Кихот же ей на это сказал:

– Странствующим рыцарем я и умру, а султан турецкий волен, когда ему вздумается, выходить и приходить с каким угодно огромным флотом, – повторяю: господь меня разумеет.

Тут вмешался цирюльник:

– Будьте добры, ваши милости, дозвольте мне рассказать одну небольшую историйку, которая произошла в Севилье: она будет сейчас как раз к месту, и потому мне не терпится ее рассказать.

Дон Кихот изъявил согласие, священник и все остальные приготовились слушать, и цирюльник начал так:

– В севильском сумасшедшем доме находился один человек, которого посадили туда родственники, ибо он лишился рассудка. Он получил ученую степень по каноническому праву в Осуне, но, получи он ее даже в Саламанке, это ему все равно бы не помогло, как уверяли

многие. Проведя несколько лет в затворе, означенный ученый вообразил, что он опаматовался и находится в совершенном уме, и в сих мыслях написал архиепископу письмо, в каковом письме, вполне здраво рассуждая, убедительно просил помочь ему выйти из того бедственного положения, в коем он пребывает, ибо по милости божией он, дескать, уже пришел в себя; однако родственники, чтобы воспользоваться его долей наследства, держат его, мол, здесь и, вопреки истине, желают, чтобы он до конца дней своих оставался умалишенным. Архиепископ, убежденный многочисленными его посланиями, свидетельствованными о рассудительности его и благоразумии, в конце концов послал капеллана узнать у смотрителя дома умалишенных, правда ли то, что пишет лицензиат, а также поговорить с самим сумасшедшим, и если, мол, он увидит, что тот пришел в разум, то пусть-де вызволит его оттуда и выпустит на свободу. Капеллан так и сделал, и смотритель ему сказал, что больной по-прежнему не в себе и что хотя он часто рассуждает, как человек большого ума, однако ж потом начинает говорить несурзости, и они у него столь же часты и столь же необычайны, как и его разумные мысли, в чем можно-де удостовериться на опыте, стоит только с ним побеседовать. Капеллан пожелал произвести этот опыт и, запершись с сумасшедшим, проговорил с ним более часа, и за все это время помешанный не сказал ничего несообразного или же нелепого, напротив того, он такую выказал рассудительность, что капеллан принужден был поверить, что больной поправился; между прочим, сумасшедший объявил, что смотритель на него клеветает, ибо не желает лишаться взяток, которые ему дают родственники больного: якобы за взятки смотритель, мол, и продолжает уверять, что больной все еще не в своем уме, хотя по временам, дескать, и наступает просветление; главная же его, больного, беда – это, мол, его богатство, ибо недруги его, чтобы таковым воспользоваться, пускаются на всяческие подвохи и выражают сомнение в той милости, какую явил ему господь, снова превратив его из животного в существо разумное. Коротко говоря, смотрителя он выставил человеком, доверия не внушающим, родственников – своекорыстными и бессовестными, а себя самого столь благоразумным, что капеллан в конце концов решил взять его с собой, чтобы архиепископ мог во всем убедиться воочию. Поведав лиценциату на слово, добрый капеллан попросил смотрителя выдать ему платье, в котором он сюда прибыл; смотритель еще раз посоветовал капеллану хорошенько подумать, ибо лицензиат, вне всякого сомнения, все еще, дескать, поврежден в уме. Однако ж, несмотря на все предостережения и увещания смотрителя, капеллан остался непреклонен в своем желании увезти лиценциата с собой; смотритель повиновался, тем более что распоряжение исходило от архиепископа; на лиценциата надели его собственное платье, новое и приличное, и когда лицензиат увидел, что он одет, как человек здоровый, а больничный халат с него сняли, то попросил капеллана в виде особого одолжения позволить ему попрощаться со своими товарищами сумасшедшими. Капеллан сказал, что ему тоже хочется пойти посмотреть на сумасшедших. Словом, они отправились, а вместе с ними и еще кое-кто; и как скоро лицензиат приблизился к клетке, где сидел буйный помешанный, который, впрочем, был тогда тих и спокоен, то обратился к нему с такими словами:

«Скажите, приятель: не нужно ли вам чего-либо? Ведь я уйду домой, – господу богу по бесконечному его милосердию и человеколюбию угодно было возвратить мне, недостойному, разум; теперь я снова в здравом уме и твердой памяти, ибо для всемогущества божия нет ничего невозможного. Надейтесь крепко и уповайте на господя: коли он меня вернул в прежнее состояние, то вернет и вас, – только положитесь на него. Я постараюсь послать вам чего-нибудь вкусного, а вы смотрите непременно скушайте: смею вас уверить, как человек, испытавший это на себе, что все наши безумства проистекают от пустоты в желудке и от воздуха в голове. Мужайтесь же, мужайтесь: кто падает духом в несчастье, тот вредит своему здоровью и ускоряет свой конец».

Все эти речи лиценциата слышал другой сумасшедший, сидевший в другой клетке, напротив буйного; поднявшись с ветхой циновки, на которой он лежал нагишом, этот второй

сумасшедший громко спросил, кто это возвращается домой в здравом уме и твердой памяти. Лиценциат ему ответил так:

«Это я ухожу, приятель, мне больше незачем здесь оставаться, за что я и воссылаю бесконечные благодарения небу, оказавшему мне столь великую милость».

«Полноте, лиценциат, что вы говорите! Как бы над вами лукавый не подшутил, – сказал сумасшедший, – торопитесь вам некуда, сидите-ка себе смирихонько на месте, все равно ведь потом придется возвращаться назад».

«Я уверен, что я здоров, – настаивал лиценциат, – мне незачем возвращаться сюда и сызнава претерпевать все мытарства».

«Это вы-то здоровы? – сказал сумасшедший. – Ну что ж, поживем – увидим, ступайте себе с богом, но клянусь вам Юпитером, коего величие олицетворяет на земле моя особа, что за один этот грех, который ныне совершает Севилья, выпуская вас из этого дома и признавая вас за здорового, я ее так покараю, что память о том пребудет во веки веков, аминь. Или ты не знаешь, жалкий лиценциатишка, что это в моей власти, ибо, как я уже сказал, я – Юпитер-громовержец, который держит в руках всеопалюющие молнии, коими я могу и имею обыкновение грозить миру и разрушать его? Но сей невежественный град я накажу иначе: клянусь три года подряд, считая с того дня и часа, когда я произношу эту угрозу, не дождить не только самый город, но и округу его и окрестность. Как, ты на свободе, ты в здравом уме, ты в твердой памяти, а я сумасшедший, я невменяемый, я под замком?.. Да я скорей удавлюсь, нежели пошлю дождь!»

Присутствующие все еще слушали выкрики и речи помешанного, как вдруг лиценциат, обратившись к капеллану и схватив его за руки, молвил:

«Не огорчайтесь, государь мой, и не придавайте значения словам этого сумасшедшего, ибо если он – Юпитер, и он не станет кропить вас дождем, то я – Нептун, отец и бог вод, и я буду кропить вас сколько потребуется и когда мне вздумается».

Капеллан же ему на это сказал:

«Со всем тем, господин Нептун, не должно гневить господина Юпитера: оставайтесь-ка вы здесь, а уж мы как-нибудь в другой раз, когда нам будет сподручнее и посвободнее, придем за вашей милостью».

Смотритель и все присутствовавшие фыркнули, но капеллан на них рассердился; лиценциата раздели, и остался он в доме умалишенных, и на этом история оканчивается.

– Это и есть та самая история, сеньор цирюльник, которая так будто бы подходила к случаю, что вы не могли ее не рассказать? – спросил Дон Кихот. – Ах, сеньор брадобрей, сеньор брадобрей, до чего же люди иной раз бывают неловки! Неужели ваша милость не знает, что сравнение одного ума с другим, одной доблести с другою, одной красоты с другою и одного знатного рода с другим всегда неприятно и вызывает неудовольствие? Я, сеньор цирюльник, не Нептун и не бог вод и, не будучи умен, за умника себя и не выдаю. Единственно, чего я добиваюсь, это объяснить людям, в какую ошибку впадают они, не возрождая блаженнейших тех времен, когда ратоборствовало странствующее рыцарство. Однако же наш развращенный век недостоин наслаждаться тем великим счастьем, каким наслаждались в те века, когда странствующие рыцари вменяли себе в обязанность и брали на себя оборону королевства, охрану девственниц, помощь сирым и малолетним, наказание гордецов и награждение смиренных. Большинство же рыцарей, подвигающихся ныне, предпочитают шуршать шелками, парчою и прочими дорогими тканями, нежели звенеть кольчугою. Теперь уж нет таких рыцарей, которые согласились бы в любую погоду, вооруженные с головы до ног, ночевать под открытым небом, и никто уже по примеру странствующих рыцарей не клюет, как говорится, носом, опершись на копье и не слезая с коня. Найдите мне хотя одного такого рыцаря, который, выйдя из лесу, взобравшись потом на гору, а затем спустившись на пустынный и нелюдимый берег моря, вечно бурного и беспокойного, и видя, что к берегу прибило утлый челн без весел, ветрила, мачты и

снастей, бесстрашно ринулся бы туда и отдался на волю неумолимых зыбей бездонного моря, а волны то вознесут его к небу, то низвергнут в пучину, рыцарь же грудь свою подставляет неукротимой буре; и не успевает он оглянуться, как уже оказывается более чем за три тысячи миль от того места, откуда отчалил, и вот он ступает на неведомую и чужедальнюю землю, и тут с ним происходят случаи, достойные быть начертанными не только на пергаменте, но и на меди. Между тем в наше время леность торжествует над рвением, праздность над трудолюбием, порок над добродетелью, наглость над храбростью и мудрствования над военным искусством, которое безраздельно царило и процветало в золотом веке и в век странствующих рыцарей. Нет, правда, скажите: кто целомудреннее и отважнее славного Амадиса Галльского? Кто благоумнее Пальмерина Английского? Кто стоворчивее и уживчивее Тиранта Белого? Кто обходительнее Лизурта Греческого? Кто получал и наносил больше ударов, чем дон Бельянис? Кто неустрашимее Периона Галльского, кто выдержал больше испытаний, чем Фелисмарт Гирканский, и кто прямодушнее Эспландиана? Кто удалее дон Сиронхила Фракийского? Кто смелее Родомонта? Кто предусмотрительнее царя Собрина? Кто дерзновенней Ринальда? Кто непобедимей Роланда? И кто, наконец, любезнее и учтивее Руджера, от коего, как указывает Турпин в своей *Космографии*, ведут свой род герцоги Феррарские? Все эти рыцари, а также многие другие, которых я мог бы назвать, были, сеньор священник, рыцарями странствующими, красую и гордостью рыцарства. Вот таких-то и подобных им рыцарей я и имел в виду: они не за страх, а за совесть послужили бы его величеству, да еще избавили бы его от больших расходов, султану же пришлось бы рвать на себе волосы. Ну, а мне, видно, придется остаться дома, коль скоро капеллан меня с собой не берет. Если же Юпитер, как нам сказал цирюльник, не пошлет дождя, так я сам буду его посылать, когда мне заблагорассудится. Говорю я это, чтобы сеньор Таз-для-бритья знал, что я его понял.

– Право, сеньор Дон Кихот, у меня было совсем другое на уме, – возразил цирюльник, – намерения у меня были добрые, истинный бог, так что ваша милость напрасно сердится.

– Напрасно или не напрасно – это уж дело мое, – отрезал Дон Кихот.

Но тут вмешался священник:

– До сих пор я не сказал и двух слов, но мне все же хотелось бы разрешить одно сомнение, которое гложет и точит мне душу, а возникло оно в связи с тем, что нам только что поведал сеньор Дон Кихот.

– За чем же дело стало? – молвил Дон Кихот. – Пожалуйста, сеньор священник, поделитесь своим сомнением, – нехорошо, когда на душе что-то есть.

– Так вот, с вашего дозволения, – начал священник, – сомнение мое заключается в следующем: я никак не могу допустить, чтобы вся эта уйма странствующих рыцарей, коих вы, сеньор Дон Кихот, перечислили, чтобы все они воистину и вправду существовали на свете, как живые люди, – напротив того, я полагаю, что все это выдумки, басни и небылицы, что все это сновидения, о которых люди рассказывают, пробудившись или, вернее сказать, в полусне.

– Вот еще одно заблуждение, в которое впадали многие, не верившие, что на свете существовали подобные рыцари, – возразил Дон Кихот, – я же многократно, в беседе с разными людьми и в различных обстоятельствах, старался разъяснить эту почти всеобщую ошибку, причем иногда мне это не удавалось, а иногда, навесивши ее на древко истины, я цели своей достигал. Между тем истина сия непреложна, и я готов утверждать, что видел Амадиса Галльского собственными глазами и что он был высок ростом, лицом бел, с красивою, хотя и черною бородою, с полуласковым-полусуровым взглядом, скуп на слова, гневался не вдруг и легко остывал. И так же точно, как я обрисовал Амадиса, я мог бы, думается мне, изобразить и описать всех выведенных в романах странствующих рыцарей, какие когда-либо в подлунном мире существовали, ибо, приняв в соображение, что они были именно такими, как о них пишут в романах, зная их нрав и подвиги, всегда можно с помощью правильных умозаключений определить их черты, цвет лица и рост.

– Сеньор Дон Кихот! А как высок был, по-вашему, великан Моргант? – спросил цирюльник.

– Касательно великанов существуют разные мнения, – отвечал Дон Кихот, – кто говорит, что они были, кто говорит, что нет, однако ж в Священном писании, где все до последнего слова совершенная правда, имеется указание на то, что они были, ибо Священное писание рассказывает нам историю этого здоровенного филистимлянина Голиафа, который был семи с половиною локтей росту, то есть величины непомерной. Затем на острове Сицилии были найдены берцовые и плечевые кости, и по размерам их видно, что они принадлежали великанам ростом с высокую башню – геометрия доказывает это неопровержимо. Однако ж со всем тем я не могу сказать с уверенностью, какой величины достигал Моргант, хотя думаю, что вряд ли он был уж очень высок; пришел же я к этому заключению, прочитав одну книгу, подвигам его посвященную, в коей особо подчеркивается то обстоятельство, что он часто ночевал под кровлею, а коли находились такие дома, где он мог поместиться, значит, величина его была не непомерна.

– Вот оно что! – молвил священник.

Ему доставляла удовольствие великая эта нелепица, и для того он спросил, как представляет себе Дон Кихот наружность Ринальда Монтальванского, Роланда и прочих пэров Франции, ибо все они были странствующими рыцарями.

– Осмеливаюсь утверждать, – отвечал Дон Кихот, – что Ринальд был широколиц, румян, с бегаящими глазами немного навывкате, самолюбив и вспыльчив донельзя, водился с разбойниками и темными людьми. Что же касается Роланда, или Ротоландо, или Орландо, – в романах его называют и так и этак, – то я полагаю и утверждаю, что росту он был среднего, широк в плечах, слегка кривоног, смугл лицом, рыжебород, телом волосат, со взглядом грозным, скуп на слова, однако ж весьма учтив и благовоспитан.

– Если Роланд был столь неказист, как ваша милость его описывает, – заметил священник, – то неудивительно, что Анджелика Прекрасная его отвергла ради миловидности, изящества и прелести этого мавра с первым пухом на подбородке, каковому мавру она и отдалась. И это было с ее стороны вполне разумно – предпочесть нежность Медора колючести Роландовой.

– Эта Анджелика, сеньор священник, – возразил Дон Кихот, – была девица ветреная, непоседливая и слегка взбалмошная, и молва о ее сумасбродствах идет по свету не менее громкая, нежели слава о ее красоте. Она отвергла многое множество вельмож, многое множество отважных и умных людей и остановила свой выбор на смазливом молокососе-паже без роду без племени: у него не было другого прозвища, кроме «Преданный», которое он получил в награду за верность своему другу. Великий певец ее красоты, славный Ариосто, не дерзнув или не пожелав воспеть то, что с этою госпожою случилось после ее постыдного падения, – а случилось с нею, должно думать, нечто в высшей степени неблагопристойное, – при расставании с нею сказал следующее:

Как перед ней склонился трон Катая,
Искусней воспоет струна иная.

И разумеется, что это было как бы пророчеством: ведь недаром поэтов называют также *vates*, что значит прорицатели. Сбылось же оно в полной мере, о чем свидетельствует то обстоятельство, что впоследствии один славный андалусский поэт оплакал и воспел ее слезы, а другой славный и несравненный кастильский поэт воспел ее красоту.

– Скажите, сеньор Дон Кихот, – спросил тут цирюльник, – неужели среди стольких поэтов, восхвалявших эту самую госпожу Анджелику, не нашлось такого, кто бы написал на нее сатиру?

– Я совершенно уверен, – отвечал Дон Кихот, – что если бы Сакрипант или Роланд были поэтами, то они бы эту девицу по головке не погладили, ибо поэтам, которыми пренебрегли и которых отвергли их дамы, как воображаемые, так равно и не воображаемые, словом, те, кого они избрали владычицами мечаний своих, свойственно и присуще мстить за себя сатирами и пасквилями, – месть, разумеется, недостойная сердец благородных, но пока что до меня не дошло ни одного стихотворения, позорящего госпожу Анджелику, а между тем она взбудоражила весь мир.

– Чудеса! – воскликнул священник.

Но тут во дворе раздались громкие крики ключницы и племянницы, которые еще раньше вышли из комнаты, и все выбежали на шум.

Глава II,

повествующая о достопримечательном пререкании Санчо Пансы с племянницей и ключницей Дон-Кихотовыми, равно как и о других забавных вещах

В истории сказано, что Дон Кихот, священник и цирюльник услышали голоса ключницы и племянницы, кричавших на Санчо Пансу; Санчо добивался, чтобы его пустили к Дон Кихоту, а они ему преграждали вход.

– Что этому бродяге здесь нужно? Проваливай-ка, братец, подобру-поздорову: ведь это ты, а не кто другой, совращаешь и сманиваешь моего господина и таскаешь его по всяким дебрям.

Санчо же на это ответил так:

– Чертова ключница! Сманивали, совращали и таскали по всяким дебрям меня, а не вашего господина: это он потащил меня мыкаться по белу свету, – так что вы обе попали пальцем в небо, – это он хитростью выманил меня из дому, пообещав остров, которого я до сих пор дожидаясь.

– Чтоб тебе провалиться с мерзостным твоим островом, проклятый Санчо! – вмешалась племянница. – И что это еще за острова? Что, ты их есть будешь, лакомка, обжора ты этакий?

– Да не есть, а ведать ими и править, – возразил Санчо, – и еще получше, нежели десять городских советов и десять столичных алькальдов.

– А все-таки ты, вместилище пороков и гнездилище лукавства, сюда не войдешь, – объявила ключница. – Иди управляй своим домом, паши свой клочок земли и забудь про все острова и чертострова на свете.

Священника и цирюльника немало потешило это словопрение, однако ж Дон Кихот, боясь, как бы Санчо не наболтал и не намолол всякой зловредной ерунды и не коснулся чего-нибудь такого, что могло бы бросить тень на его, Дон Кихота, доброе имя, позвал его и велел женщинам замолчать и впустить посетителя. Санчо вошел, а священник и цирюльник попрощались с Дон Кихотом, на выздоровление коего они теперь утратили всякую надежду: так упорствовал он в странных своих суждениях о злосчастном этом странствующем рыцарстве и так простодушно был погружен в свои о нем размышления, а потому священник сказал цирюльнику:

– Вот увидите, любезный друг, в один прекрасный день приятель наш снова даст тягу.

– Не сомневаюсь, – отозвался цирюльник, – однако ж меня не столько удивляет помешательство рыцаря, сколько простодушие оруженосца: он так уверовал в свой остров, что никакие разочарования, думается мне, не выбьют у него этого из головы.

– Да поможет им бог, – сказал священник, – а мы будем на страже: посмотрим, к чему приведет вся эта цепь сумасбродств как рыцаря, так и оруженосца, – право, их обоих словно отлили в одной и той же форме, и безумства господина без глупостей слуги не стоили бы ломаного гроша.

– Ваша правда, – заметил цирюльник, – любопытно было бы знать, о чем они сейчас толкуют.

– Я уверен, – сказал священник, – что племянница или же ключница нам потом расскажут: ведь у них такой обычай – все подслушивать.

Между тем Дон Кихот заперся с Санчо у себя в комнате и, оставшись с ним вдвоем, заговорил:

– Меня весьма огорчает, Санчо, что ты утверждал и утверждаешь, будто я заставил тебя покинуть насиженное местечко, но ведь ты же знаешь, что и я не оставался на месте: отправились мы вдвоем, вдвоем поехали, вдвоем и странствовали, и та же участь и та же судьба

постигли нас обоих: если тебя один раз подбрасывали на одеяле, то меня сто раз колотили, вот и все мое перед тобой преимущество.

– Да ведь это в порядке вещей, – возразил Санчо, – сами же вы, ваша милость, говорите, что злосключения – это скорей по части странствующих рыцарей, нежели оруженосцев.

– Ты ошибаешься, – заметил Дон Кихот, – не зря говорится, что когда *caput dolet...* и так далее.

– Я разумею только мой родной язык, – объявил Санчо.

– Я хочу сказать, – пояснил Дон Кихот, – что когда *болит голова*, то болит и все тело, а как я есмь твой господин и сеньор, то я – голова, ты же – часть моего тела, коль скоро ты мой слуга, потому-то, если беда стряслась со мною, то она отзывается на тебе, а на мне твоя.

– Так-то оно так, – сказал Санчо, – однако ж когда меня, часть вашего тела, подбрасывали на одеяле, то голова моя пребывала за забором, смотрела, как я взлетаю на воздух, и не чувствовала при этом ни малейшей боли, а если тело обязано болеть вместе с головою, то и голова обязана болеть вместе с телом.

– Ты хочешь сказать, Санчо, что мне не было больно, когда тебя подбрасывали на одеяле? – спросил Дон Кихот. – Так вот, если ты это хочешь сказать, то не говори так и не думай, ибо душа моя болела тогда сильнее, нежели твое тело. Однако ж оставим до времени этот разговор, потом мы все это еще обсудим и взвесим. А теперь скажи, друг Санчо, что говорят обо мне в нашем селе? Какого мнения обо мне простонародье, идалго и кавальеро? Что говорят о моей храбрости, о моих подвигах и о моей учтивости? Какие ходят слухи о моем начинании – возродить и вновь учредить во всем мире давно забытый рыцарский орден? Словом, я желаю, чтобы ты поведал мне, Санчо, все, что на сей предмет дошло до твоего слуха. И ты должен мне это поведать без утайки и без прикрас, ибо верным вассалам надлежит говорить сеньорам своим всю, как есть, правду, не приукрашивая ее ласкательством и не смягчая ее из ложной почтительности. И тебе надобно знать, Санчо, что когда бы до слуха государей доходила голая правда, не облаченная в одежды лести, то настали бы другие времена, и протекшие века по сравнению с нашим стали бы казаться железными, тогда как наш, должно думать, показался бы золотым. Пусть же эти мои слова будут тебе назиданием, Санчо, дабы ты добросовестно и толково доложил мне всю правду о том, что меня, как тебе известно, занимает.

– Я это сделаю весьма охотно, государь мой, – сказал Санчо, – с условием, однако ж, что ваша милость на мои слова не разгневется, коли желает, чтобы я выставил всю правду нагишом, не облакая ее ни во что, кроме того одеяния, в коем она дошла до меня.

– И не подумаю даже гневаться, – сказал Дон Кихот. – Можешь, Санчо, говорить свободно и без околичностей.

– Ну так, во-первых, я вам скажу, – начал Санчо, – что народ почитает вашу милость за самого настоящего сумасшедшего, а я, мол, тоже с придурью. Идалго говорят, что звания идалго вашей милости показалось мало и вы приставили к своему имени *дон*, и, хотя у вас всего две-три виноградные лозы, землицы – волю развернуться негде, а прикрыт только зад да перед, произвели себя в кавальеро. Кавальеро говорят, что они не любят, когда с ними тягаются идалго, особливо такие, которым пристало разве что в конюхах ходить и которые обувь чистят сажей, а черные чулки штопают зеленым шелком.

– Это ко мне не относится, – сказал Дон Кихот, – одет я всегда прилично, чиненого не ношу. Рваное – это другое дело, да и то это больше от доспехов, нежели от времени.

– Касательно же храбрости, учтивости, подвигов и начинания вашей милости, – продолжал Санчо, – то на сей предмет существуют разные мнения. Одни говорят: «Сумасшедший, но забавный», другие: «Смельчак, но неудачник», третьи: «Учтивый, но блажной», и уж как примутся пересуживать, так и вашей милости и мне все косточки перемоют.

– Прими вот что в соображение, Санчо, – заговорил Дон Кихот, – стоит только добродетели достигнуть степеней высоких, как ее уже начинают преследовать. Никто или почти никто

из славных мужей прошлого не избежал низкой клеветы. Юлия Цезаря, неустрашимейшего, предусмотрительнейшего и отважнейшего полководца, упрекали в тщеславии и в некоторой нечистоплотности – как в смысле одежды, так и в смысле нравов. Об Александре, подвигами своими стяжавшем себе название «великого», говорят, будто бы он запивал. Про Геркулеса, несшего столь великие труды, рассказывают, будто бы он был неженкою и распутником. Про донна Галаора, брата Амадиса Галльского, ходят слухи, будто бы он чересчур был сварлив, а что его брат – будто бы плакса. А потому, Санчо, среди стольких сплетен о людях выдающихся сплетни обо мне пройдут незаметно, если только ты чего-нибудь не утаил.

– В том-то вся и загвоздка, не видать отцу моему царствия небесного! – воскликнул Санчо.

– Значит, это еще не все? – спросил Дон Кихот.

– Ягодки еще впереди, – отвечал Санчо, – а пока что это были всего только цветочки. Коли милости вашей угодно знать клеветы, про вас распространяемые, то я мигом приведу одного человека, и он вам их выложит все до единой, вот чего не упустит: ведь вчера вечером приехал сын Бартоломе Карраско, тот, что учился в Саламанке и стал бакалавром, и я пошел поздравить его с приездом, а он мне сказал, будто вышла в свет история вашей милости под названием *Хитроумный идалго Дон Кихот Ламанчский*, и еще он сказал, будто меня там вывели под моим собственным именем – Санчо Пансы, и сеньору Дульсинею Тобосскую тоже, и будто там есть все, что происходило между нами двумя, так что я от ужаса начал креститься – откуда, думаю, все это сделалось известно сочинителю?

– Уверю тебя, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что наш летописец – это, уж верно, какой-нибудь мудрый кудесник: от таких, о чем бы они ни пожелали писать, ничто не укроется.

– Какой там мудрый, да еще и кудесник, – воскликнул Санчо, – когда, по словам бакалавра Самсона Карраско (так зовут того, о ком я говорю), автор этой книги прозывается *Сид Ахмет Бен-нахали!*

– Это мавританское имя, – сказал Дон Кихот.

– Вернее всего, – подхватил Санчо, – мне от многих приходилось слышать, что мавры презиравные нахалы.

– По-видимому, Санчо, – заметил Дон Кихот, – ты перепутал прозвание этого *Сиды*, что, кстати сказать, по-арабски означает «господин».

– Очень может быть, – сказал Санчо. – Так вот, коли вашей милости желательно, чтобы я привел сюда бакалавра, то я за ним живо слетаю.

– Я буду тебе очень признателен, друг мой, – сказал Дон Кихот. – Ты мне загадал загадку, – я не стану ни пить, ни есть, покуда всего не разведая.

– Ну так я за ним схожу, – повторил Санчо.

И, оставив своего господина, он пошел к бакалавру и малое время спустя вместе с ним возвратился, и тут между ними тремя презабавное началось собеседование.

Глава III

Об уморительном разговоре, происходившем между Дон Кихотом, Санчо Пансою и бакалавром Самсоном Карраско

Дон Кихот в ожидании бакалавра Карраско, от которого он надеялся услышать, что именно о нем говорится в книге, о коей ему толковал Санчо, погрузился в глубокую задумчивость; он никак не мог поверить, что такая книга существует в действительности: ведь на острие его меча еще не успела высохнуть кровь убитых им врагов, а тут говорят, будто история высоких его рыцарских подвигов уже вышла в свет. Со всем тем он решил, что какой-нибудь мудрец, не то друг, не то недруг, силою своего волшебства ее напечатал, – коли друг, то дабы возвеличить и вознести его подвиги над самыми славными деяниями странствующих рыцарей, а коли недруг, то дабы умалить их и поставить ниже самых гнусных поступков гнуснейшего из оруженосцев, какой когда-либо был описан в книге; впрочем, возражал он себе, дела оруженосцев никто никогда не описывал, если же такая книга подлинно существует, то, коль скоро это книга о странствующем рыцаре, она по необходимости долженствует быть красноречивою, возвышенною, изрядною, великолепною и правдивою. Соображения эти несколько его успокоили, однако он снова забеспокоился, когда вспомнил, что автор книги – мавр, о чем свидетельствовало слово *Сид*, от мавров же ожидать правды не следует, ибо все они обманщики, вдали и выдумщики. Он со страхом думал: а вдруг мавр описывает сердечные его обстоятельства без надлежащей благопристойности и тем самым порочит и пятнает честь сеньоры Дульсинеи Тобосской? Ему же хотелось, чтобы в книге было засвидетельствовано, как он был верен ей и как высоко всегда ее ставил, как отвергал королев, императриц и всякого звания дев и умерял естественные движения сердца; и он все еще думал, гадал, судил и рядил, когда вошли Санчо и Карраско, и Дон Кихот встретил бакалавра с отменною учтивостью.

Бакалавр хотя и звался Самсоном, однако ж росту был небольшого, зато был преобладающий хитрец; цвет лица у него был безжизненный, зато умом он отличался весьма живым; сей двадцатичетырехлетний молодой человек был круглолиц, курнос, большерот, что выдавало насмешливый нрав и склонность к забавам и шуткам, каковые свойства он и выказал, едва увидевши Дон Кихота, ибо тот же час опустился перед ним на колени и сказал:

– Ваше величие, сеньор Дон Кихот Ламанчский! Пожалуйте мне ваши руки, ибо, клянусь одеянием апостола Петра, которое на мне (хотя я достигнул только первых четырех степеней), что ваша милость – один из наиславнейших странствующих рыцарей, какие когда-либо появлялись или еще появятся на земной поверхности. Да будет благословен Сид Ахмет Бен-инхали за то, что он написал историю великих ваших деяний, и да преблагословен будет тот любознательный человек, который взял на себя труд перевести ее с арабского на наш обиходный кастильский язык для всеобщего увеселения.

Дон Кихот попросил его встать и сказал:

– Итак, моя история, и правда, написана, и составил ее некий мудрый мавр?

– Сущая правда, сеньор, – отвечал Самсон, – и я даже ручаюсь, что в настоящее время она отпечатана в количестве более двенадцати тысяч книг. Коли не верите, запросите Португалию, Барселону и Валенсию, где она печаталась, и еще ходят слухи, будто бы ее сейчас печатают в Антверпене, – мне сдается, что скоро не останется такого народа, который не прочел бы ее на своем родном языке.

– Ничто не может доставить человеку добродетельному и выдающемуся такого полного удовлетворения, – сказал на это Дон Кихот, – как сознание, что благодаря печатному слову добрая о нем молва еще при его жизни звучит на языках разных народов. Я говорю: добрая молва, ибо если наоборот, то с этим никакая смерть не сравнится.

– Что касается доброй славы и доброго имени, – подхватил бакалавр, – то ваша милость превосходит всех странствующих рыцарей, ибо мавр на своем языке, а христианин на своем постарались в самых картинных выражениях описать молодцеватость вашей милости, великое мужество ваше в минуту опасности, стойкость в бедствиях, терпение в пору невзгод, а также при ранениях, и, наконец, чистоту и сдержанность платонического увлечения вашей милости сеньорою доньей Дульсинеей Тобосской.

– Я никогда не слыхал, чтобы сеньору Дульсинею звали *донья*, – вмешался тут Санчо, – ее зовут просто *сеньора Дульсинея Тобосская*, так что в этом сочинитель ошибается.

– Твое возражение несущественно, – заметил Карраско.

– Разумеется, что нет, – отозвался Дон Кихот, – однако ж скажите мне, сеньор бакалавр: какие из подвигов моих наипаче восславляются в этой истории?

– На сей предмет, – отвечал бакалавр, – существуют разные мнения, ибо разные у людей вкусы: одни питают пристрастие к приключению с ветряными мельницами, которые ваша милость приняла за Бриареев и великанов, другие – к приключению с сукновальнями, кто – к описанию двух ратей, которые потом оказались стадами баранов, иной восторгается приключением с мертвым телом, которое везли хоронить в Сеговию, один говорит, что лучше нет приключения с освобождением каторжников, другой – что надо всем возвышаются приключения с двумя великанами-бенедиктинцами и схватка с доблестным бискайцем.

– А скажите, сеньор бакалавр, – снова вмешался Санчо, – вошло в книгу приключение с янгуасцами, когда добрый наш Росинант отправился искать на дне морском груш?

– Мудрец ничего не оставил на дне чернильницы, – отвечал Самсон, – он всего коснулся и обо всем рассказал, даже о том, как добрый Санчо кувыркался на одеяле.

– Ни на каком одеяле я не кувыркался, – возразил Санчо, – в воздухе, правда, кувыркался, и даже слишком, я бы сказал, долго.

– По моему разумению, – заговорил Дон Кихот, – во всякой светской истории должны быть свои коловратности, особливо в такой, в которой речь идет о рыцарских подвигах, – не может же она описывать одни только удачи.

– Как бы то ни было, – сказал бакалавр, – некоторые читатели говорят, что им больше понравилось бы, когда бы авторы сократили бесконечное количество ударов, которые во время разных стычек сыпались на сеньора Дон Кихота.

– История должна быть правдивой, – заметил Санчо.

– И все же они могли бы умолчать об этом из чувства справедливости, – возразил Дон Кихот, – не к чему описывать происшествия, которые хотя и не нарушают и не искажают правды исторической, однако ж могут унижить героя. Сказать по совести, Эней не был столь благочестивым, как его изобразил Вергилий, а Одиссей столь хитроумным, как его представил Гомер.

– Так, – согласился Самсон, – но одно дело – поэт, а другое – историк: поэт, повествуя о событиях или же воспевая их, волен изображать их не такими, каковы они были в действительности, а такими, какими они должны были быть, историку же надлежит описывать их не такими, какими они должны были быть, но такими, каковы они были в действительности, ничего при этом не опуская и не присочиняя.

– Коли уж сеньор мавр выложил всю правду, – заметил Санчо, – стало быть, среди ударов, которые получал мой господин, наверняка значатся и те, что получал я, потому не было еще такого случая, чтобы, снимая мерку со спины моего господина, не сняли заодно и со всего моего тела. Впрочем, тут нет ничего удивительного: мой господин сам же говорит, что головная боль отдается во всех членах.

– Ну и плут же вы, Санчо, – молвил Дон Кихот. – На что, на что, а на то, что вам выгодно, у вас, право, недурная память.

– Да если б я и хотел позабыть про дубинки, которые по мне прошлись, – возразил Санчо, – так все равно не мог бы из-за синяков: ведь до ребер-то у меня до сих пор не дотронешься.

– Помолчи, Санчо, – сказал Дон Кихот, – не прерывай сеньора бакалавра, я же, со своей стороны, прошу его продолжать и рассказать все, что в упомянутой истории обо мне говорится.

– И обо мне, – ввернул Санчо, – ведь, говорят, я один из ее главных пресонажей.

– *Персонажей*, а не *пресонажей*, друг Санчо, – поправил Самсон.

– Еще один строгий учитель нашелся! – сказал Санчо. – Если мы будем за каждое слово цепляться, то ни в жизнь не кончим.

– Пусть моя жизнь будет несчастной, если ты, Санчо, не являешься в этой истории вторым лицом, – объявил бакалавр, – и находятся даже такие читатели, которым ты доставляешь больше удовольствия своими речами, нежели самое значительное лицо во всей этой истории, хотя, впрочем, кое-кто говорит, что ты обнаружил излишнюю доверчивость, поверив в возможность стать губернатором на острове, который был тебе обещан присутствующим здесь сеньором Дон Кихотом.

– Время еще терпит, – заметил Дон Кихот, – и чем более будет Санчо входить в возраст, чем более с годами у него накопится опыта, тем более способным и искусным окажется он губернатором.

– Ей-богу, сеньор, – сказал Санчо, – не губернаторствовал я на острове в том возрасте, в коем нахожусь ныне, и не губернаторствовать мне там и в возрасте Мафусаиловом. Не то беда, что у меня недостает сметки, чтобы управлять островом, а то, что самый этот остров неведомо куда запропастился.

– Положись на бога, Санчо, – молвил Дон Кихот, – и все будет хорошо, и, может быть, даже еще лучше, чем ты ожидаешь, ибо без воли божией и лист на дереве не шелохнется.

– Совершенная правда, – заметил Самсон, – если бог захочет, то к услугам Санчо будет не то что один, а целая тысяча островов.

– Навидался я этих самых губернаторов, – сказал Санчо, – по-моему, они мне в подметки не годятся, а все-таки их величают *ваше превосходительство* и кушают они на серебре.

– Это не губернаторы островов, – возразил Самсон, – у них другие области, попроще, – губернаторы островов должны знать, по крайности, грамматику и арифметику.

– С *орехами-то* я в ладах, – сказал Санчо, – а вот что такое *метика* — тут уж я ни в зуб толкнуть, не понимаю, что это может значить. Предадим, однако ж, судьбы островов в руки божии, и да пошлет меня господь бог туда, где я больше всего могу пригодиться, я же вам вот что скажу, сеньор бакалавр Самсон Карраско: я страх как доволен, что автор этой истории, рассказывая про мои похождения, не говорит обо мне никаких неприятных вещей, потому, честное слово оруженосца, расскажи он обо мне что-нибудь такое, что не пристало столь чистокровному христианину, каков я, то мой голос услышали бы и глухие.

– Это было бы чудо, – заметил Самсон.

– Чудо – не чудо, – отрезал Санчо, – а только каждый должен думать, что он говорит или же что пишет о *пресонах*, а не ляпать без разбора все, что взбредет на ум.

– Одним из недостатков этой истории, – продолжал бакалавр, – считается то, что автор вставил в нее повесть под названием *Безрассудно-любопытный*, – и не потому, чтобы она была плоха сама по себе или же плохо написана, а потому, что она здесь неуместна и не имеет никакого отношения к истории его милости сеньора Дон Кихота.

– Бьюсь об заклад, – объявил Санчо, – что у этого сукина сына получилась каша.

– В таком случае я скажу, – заговорил Дон Кихот, – что автор книги обо мне – не мудрец, а какой-нибудь невежественный болтун, и взялся он написать ее наудачу и как попало – что выйдет, то, мол, и выйдет, точь-в-точь как Орбанеха, живописец из Убеды, который, когда его спрашивали, что он пишет, отвечал: «Что выйдет». Нарисовал он однажды петуха, да так

скверно и до того непохоже, что пришлось написать под ним крупными буквами: «Это петух». Так, очевидно, обстоит дело и с моей историей, и чтобы понять ее, понадобится комментарий.

– Ну нет, – возразил Самсон, – она совершенно ясна и никаких трудностей не представляет: детей от нее не оторвешь, юноши ее читают, взрослые понимают, а старики хвалят. Словом, люди всякого чина и звания зачитывают ее до дыр и знают наизусть, так что чуть только увидят какого-нибудь одра, сейчас же говорят: «Вон Росинант!» Но особенно увлекаются ею слуги – нет такой господской передней, где бы не нашлось *Дон Кихота*: стоит кому-нибудь выпустить его из рук, как другой уж подхватывает, одни за него дерутся, другие выпрашивают. Коротко говоря, чтение помянутой истории есть наименее вредное и самое приятное времяпрепровождение, какое я только знаю, ибо во всей этой книге нет ни одного мало-мальски неприличного выражения и ни одной не вполне католической мысли.

– Писать иначе – это значит писать не правду, а ложь, – заметил Дон Кихот, – историков же, которые не гнушаются ложью, должно сжигать наравне с фальшивомонетчиками. Вот только я не понимаю, зачем понадобилось автору прибегать к повестям и рассказам про других, когда он мог столько написать обо мне, – по-видимому, он руководствовался пословицей: «Хоть солому ешь, хоть жито, лишь бы брюхо было сыто». В самом деле, одних моих размышлений, вздохов, слез, добрых намерений и сражений могло бы хватить ему на еще более или уж, по крайности, на такой же толстый том, какой составляют сочинения Тостадо. Откровенно говоря, сеньор бакалавр, я полагаю, что для того, чтобы писать истории или же вообще какие бы то ни было книги, потребны верность суждения и зрелость мысли. Отпускать шутки и писать остроумные вещи есть свойство умов великих: самое умное лицо в комедии – это шут, ибо кто желает сойти за дурачка, тот не должен быть таковым. История есть нечто священное, ибо ей надлежит быть правдивою, а где правда, там и бог, ибо бог и есть правда, и все же находятся люди, которые пекут книги, как олады.

– Нет такой дурной книги, в которой не было бы чего-нибудь хорошего, – вставил бакалавр.

– Без сомнения, – согласился Дон Кихот, – однако ж часто бывает так, что люди заслуженно достигают и добиваются своими рукописаниями великой славы, но коль скоро творения их выходят из печати, то слава им изменяет совершенно или, во всяком случае, несколько меркнет.

– Суть дела вот в чем, – сказал Карраско, – произведения напечатанные просматриваются исподволь, а потому и недостатки таковых легко обнаруживаются, и чем громче слава сочинителя, тем внимательнее творения его изучаются. Людям, прославившимся своими дарованиями, великим поэтам, знаменитым историкам всегда или же большею частью завидуют те, которые с особым удовольствием и увлечением вершат суд над произведениями чужими, хотя сами не выдали в свет ни единого.

– Удивляться этому не приходится, – заметил Дон Кихот, – сколько богословы сами не годятся в проповедники, но зато отличнейшим образом подметят, чего вот в такой-то проповеди недостает и что в ней лишнее.

– Все это так, сеньор Дон Кихот, – возразил Карраско, – однако ж я бы предпочел, чтобы подобного рода судьи были более снисходительны и менее придирчивы и чтобы они не считали пятен на ярком солнце того творения, которое они хулят, ибо если *aliquando bonus dormitat Homerus*², то пусть они примут в рассуждение, сколько пришлось ему бодрствовать, дабы на светлое его творение падало как можно меньше тени, и притом, может статься, те пятна, которые им не понравились, – это пятна родимые, иной раз придающие человеческому лицу особую прелесть. Коротко говоря, кто отдает свое произведение в печать, тот величайшему под-

² Неточная цитата из Горация: «Случается и Гомеру задремать», то есть и Гомер не свободен от промахов (*лат.*).

вергается риску, ибо совершенно невозможно сочинить такую книгу, которая удовлетворила бы всех.

– Книга, написанная обо мне, удовлетворит немногих, – вставил Дон Кихот.

– Как раз наоборот: ведь *stultorum infinitus est numerus*³, а посему ваша история пришлась по вкусу неисчислимому множеству читателей, однако ж некоторые полагают, что память у автора худая и слабая, ибо он забыл сообщить, кто украл у Санчо его серого: вор не назван, ясно только одно, что осла похитили, а немного погодя мы снова видим Санчо верхом на том же самом осле, который неизвестно откуда взялся. Еще говорят, будто автор забыл упомянуть, что сделал Санчо на ту сотню эскудо, которую он нашел в чемодане в Сьерре Морене: автор об этом умалчивает, а между тем многим хотелось бы знать, что Санчо на них сделал и как он ими распорядился, – вот этой существенной подробности в книге и недостает.

Санчо на это ответил так:

– Мне, сеньор Самсон, сейчас не до счетов и не до отчетов, – у меня такая слабость в желудке, что ежели я не глотну для бодрости крепкого вина, то высохну, как щепка. Дома у меня есть вино, моя дражайшая половина меня поджидает, я только поем, а потом вернусь и удовлетворю вашу милость и всякого, кто только ни пожелает меня спросить касательно пропажи осла и на что я израсходовал сто эскудо.

И, не дожидаясь ответа и ни слова более не сказав, Санчо ушел домой.

Дон Кихот стал просить и уговаривать бакалавра остаться и закусить с ним чем бог послал. Бакалавр принял приглашение и остался; в виде добавочного блюда была подана пара голубей; за столом говорили о рыцарстве; Карраско поддакивал хозяину; пиршество кончилось, все легли соснуть. Санчо возвратился, и прерванная беседа возобновилась.

³ Число глупцов бесконечно (*лат.*). Екклезиаст.

Глава IV,

в коей Санчо Панса разрешает недоуменные вопросы бакалавра Самсона Карраско, а также происходят события, о которых стоит узнать и рассказать

Санчо возвратился к Дон Кихоту и, возвращаясь к прерванному разговору, сказал:

– Сеньор Самсон говорит, что ему любопытно знать, кто, как и когда похитил у меня серого, на каковой его запрос отвечаю нижеследующее. В ту же ночь, когда мы, спасаясь бегством от Святого братства, очутились в Сьерре Морене после злоключений, то бишь приключений, с каторжниками и с покойником, которого несли в Сеговию, мой господин и я спрятались в чаще леса, и тут мы оба, мой господин – опершись на копьё, а я – верхом на своем сером, избитые и уставшие от перепалок, заснули как все равно на пуховиках. Особливо я заснул таким крепким сном, что кто-то ко мне подкрался, со всех четырех сторон подставил под седло по палке и неприметно вытащил из-под меня осла, я же так и остался в седле.

– Это дело пустячное, да и не новое, то же самое приключилось с Сакрипантом во время осады Альбраки: таким же хитроумным способом вытащил из-под него коня знаменитый разбойник Брунел.

– Рассвело, – продолжал Санчо, – и чуть только я пошевелился, как палки полетели и я со всего размаху шлепнулся. Поглядел, где мой серый, ан серого-то и нет. Заплакал я в три ручья и таково жалобно запричитал, что ежели тот, кто написал про нас книгу, не вставил в нее моих причитаний, значит, можно сказать с уверенностью, что он ничего хорошего в нее не вставил. Сколько дней прошло с тех пор – не помню, только еду я с сеньорой принцессой Микомиконой, гляжу: осел-то мой вот он, а на нем одетый по-цыгански Хинес де Пасамонте, сей плут и презренный мерзавец, коего мой господин и я избавили от цепей.

– Ошибка не в этом, – заметил Самсон, – а в том, что, прежде нежели осел нашелся, автор обмолвился, что Санчо ехал верхом на том же самом сером.

– На это я не знаю, что вам ответить, – сказал Санчо, – видно, сочинитель ошибся, а может, это небрежность наборщика.

– По всей вероятности, так оно и есть, – сказал Самсон. – Ну, а что же случилось с сотней эскудо? Их не стало в живых?

Санчо ответил:

– Я истратил их на себя лично, на жену и на детей, и только благодаря им я не получил от жены нагоняя за то, что, находясь на службе у моего господина Дон Кихота, изъездил все пути-дорожки, а то если б я через столько времени заявился домой без осла и с пустыми руками, меня бы ожидала незавидная участь. Если же вы еще что-либо желаете знать обо мне, то я к вашим услугам, готов ответ держать хоть перед самим королем, перед собственной его *персоной*, да и никого не касается – привез я денег или не привез, истратил или не истратил, потому ежели бы за все колотушки, которые мне надавали за время моего путешествия, рассчитывались деньгами, хотя бы по четыре мараведи за каждую, так не то что ста, а и двухсот эскудо не хватило бы, чтобы расплатиться только за половину, и пусть каждый спросит сначала свою совесть, а потом уже белое называет черным, а черное – белым: ведь все мы таковы, какими нас господь бог сотворил, а бывает, что и того хуже.

– Я попрошу автора, – сказал Карраско, – чтобы он во втором издании своей книги не забыл вставить то, что сейчас сказал добрый Санчо, – это к вящему послужило бы ей украшению.

– А еще какие-нибудь исправления требуются в этой книге, сеньор бакалавр? – осведомился Дон Кихот.

– Вероятно, какие-нибудь требуются, – отвечал тот, – но уже не столь существенные.

– А не собирается ли, чего доброго, автор выдать в свет вторую часть? – спросил Дон Кихот.

– Как же, собирается, – отвечал Самсон, – только он говорит, что еще не разыскал ее и не знает, у кого она хранится, так что это еще под сомнением, выйдет она или нет, да и потом некоторые говорят: «Вторая часть никогда не бывает удачной», а другие: «О Дон Кихоте написано уже довольно», вот и берет сомнение, будет ли вторая часть. Впрочем, люди не угрюмые, а жизнерадостные просят: «Давайте нам еще Дон-Кихотовых походов, пусть Дон Кихот воинствует, а Санчо Панса болтает, рассказывайте о чем угодно – мы всем будем довольны».

– К чему же склоняется автор?

– А вот к чему, – отвечал Самсон. – Он с крайним тщанием историю эту разыскивает, и коль скоро она найдется, он сей же час предаст ее тиснению: ведь он не столько за похвалами гонится, сколько за прибылью.

На это Санчо ему сказал:

– Так, стало быть, автор жаден до денег, до прибыли? Ну, тогда это просто чудо будет, коли он напишет удачно: ведь ему придется метать на живую нитку, как все равно портняжке перед самой Пасхой, – произведения же, написанные наспех, никогда не достигают должного совершенства. Нет, пусть-ка этот самый сеньор мавр, или кто он там такой, постарается, а уж мы с моим господином насчет приключений и разных происшествий не поскупимся, так что он не только вторую, а и целых сто частей написать сумеет. Он-то, сердечный, поди, думает про нас: дескать, как сыр в масле катаются, а поглядел бы, как мы тут благоденствуем, – пожалуй, от такого благоденства ножки протянешь. А пока вот что я скажу: послушайся меня мой господин, мы бы уж давно были в чистом поле, искореняли бы зло и выпрямляли кривду, как это принято и как это водится у добрых странствующих рыцарей.

Не успел Санчо вымолвить это, как их слуха достигло ржание Росинанта, каковое ржание Дон Кихот почел за весьма добрый знак и положил дня через три, через четыре снова отправиться в поход; и, поделившись намерением своим с бакалавром, он спросил, куда тот посоветует ему путь держать; бакалавр отвечал, что, по его разумению, в королевство Арагонское, в город Сарагосу, где в ближайшее время, в Георгиев день, надлежит быть наиторжественнейшим состязаниям и где Дон Кихот может превзойти всех рыцарей арагонских, а это все равно что превзойти всех рыцарей на свете. Засим бакалавр похвалил Дон Кихота за его чрезвычайно благородное и смелое начинание, но предупредил, чтобы он не играл с опасностью по той причине, что его жизнь, мол, принадлежит не ему, а всем несчастным, которые в помощи его и покровительстве нуждаются.

– Насчет состязания, сеньор Самсон, я не согласен, – вмешался Санчо, – ведь мой господин набрасывается на сотню вооруженных людей, как все равно лакомка-мальчишка, на полдесятка спелых дынь. Да, черт побери, сеньор бакалавр, всему свое время: когда напасть, а когда и отступить можно, а издавать то и знай воинственные кличи – это не дело. Притом я слышал, и как будто бы, если память мне не изменяет, от моего же собственного господина, что посредине между двумя крайностями, трусостью и безрассудством, находится храбрость, а коли так, то не должно удирать неизвестно из-за чего, а равно и нападать на превосходящие силы противника. Но главное вот насчет чего я хочу упредить моего господина: коли он намерен взять меня с собой, то я, со своей стороны, ставлю непременно условием, что драться будет он один, мне же только вменяется в обязанность следить за тем, чтобы он был чисто одет и накормлен, – тут уж я в лепешку расшибусь, – но чтобы я когда-нибудь поднял меч не то что на великана, а хотя бы на разбойника с большой дороги, это вещь невозможная. Я, сеньор Самсон, рассчитываю добыть себе славу не храбреца, а самого лучшего и самого верного оруженосца, какой когда-либо служил странствующему рыцарю. И если моему господину Дон Кихоту в награду за многочисленные мои и важные услуги благоугодно будет пожаловать мне один из тех многочисленных островов, которые, как я слышал от его милости, в здешних

краях водятся, то он меня премного тем одолжит, а не пожалует, то для чего-то я все-таки родился на свет, а ведь всякому человеку должно уповать ни на кого другого, а только на бога, и притом может статься, что безгубернаторский кусок хлеба такой же вкусный, а то, глядишь, еще и повкуснее, нежели губернаторский, да и откуда я знаю: не ровен час, на этих самых островах черт собирается подставить мне ножку, чтобы я споткнулся, упал и вышиб себе зубы. Как был я Санчо, так Санчо и умру, однако ежели без особого с моей стороны риска и хлопот ни оттуда ни отсюда свалится мне с неба какой-нибудь остров или же еще что-нибудь в этом роде, то я не такой дурак, чтоб от него отказаться, не зря же говорит пословица: «Дали коровку – беги скорей за веревкой», а то еще: «Привалило добро – тащи прямо в дом».

– Ты, братец Санчо, – молвил Карраско, – говорил как настоящий профессор, однако ж со всем тем положишь на бога и на сеньора Дон Кихота, и сеньор Дон Кихот пожалует тебе не только что остров, а и целое королевство.

– Половинку бы – и то хорошо, – заметил Санчо, – только смею вас уверить, сеньор Карраско, что королевство, которое моему господину угодно будет мне пожаловать, со мной не пропадет: я щупал себе пульс и знаю, что у меня хватит здоровья, чтобы править королевствами и островами, – я уж сколько раз говорил моему господину.

– Смотри, Санчо, – сказал Самсон, – от должностей меняется нрав; может случиться, что, ставши губернатором, ты от родной матери отвернешься.

– Так можно сказать про басурмана, – возразил Санчо, – а у меня в жилах течет чистая-расчистая христианская кровь. Да нет, вы только присмотритесь ко мне: разве я способен отплатить кому-либо неблагодарностью?

– Дай-то бог, – молвил Дон Кихот, – посмотрим, что будет, когда ему вручат бразды правления, а мне сдастся, что час тот недалек.

Затем Дон Кихот попросил бакалавра, если только он поэт, сделать ему одолжение – сочинить на предстоящую разлуку с сеньорой Дульсинеей Тобосской такое стихотворение, где бы каждый стих начинался с одной из букв ее имени, так что в конце концов, если соединить начальные буквы, можно было бы прочесть: *Дульсинея из Тобосо*. Бакалавр ответил, что хотя он и не принадлежит к числу знаменитых испанских поэтов, которых, как говорят, всего-навсего три с половиной, однако ж не преминет-де сочинить помянутые вирши, нужды нет, что сочинение таковых представляет для него трудность немалую по той причине, что заданное имя состоит из семнадцати букв, и вот если, мол, написать четыре четверостишия, то одна буква будет лишняя, если же четыре пятистишия, четыре так называемые *дэсимы* или *редондиллы*, то трех букв не хватит, однако ж со всем тем он, дескать, постарается как-нибудь проглотить одну букву и в четыре четверостишия втиснуть имя Дульсинеи из Тобосо.

– Добейтесь этого во что бы то ни стало, – сказал Дон Кихот, – ни одна женщина не поверит, что стихи посвящены ей, если имя ее не обозначено в них ясно и отчетливо.

На том они и порешили, а также на том, что Дон Кихот выедет через неделю. Дон Кихот взял с бакалавра слово держать это в тайне от всех, в частности от священника и маэсе Николаса, а равно и от племянницы и ключницы, чтобы они не воспрепятствовали благородному и смелому его начинанию. Карраско пообещал. Засим, прощаясь с Дон Кихотом, он обратился к нему с просьбой при случае уведомлять его обо всех удачах и неудачах; и тут они расстались, а Санчо пошел готовиться к отъезду.

Глава V

Об остроумной и забавной беседе, какую вели между собой Санчо Панса и супруга его Тереса Панса, равно как и о других происшествиях, о которых мы не без приятности упомянем

Дойдя до пятой главы, переводчик этой истории объявляет, что глава эта, по его мнению, вымышленная, ибо в ней Санчо Панса изъясняется таким слогом, какого нельзя было бы ожидать от ограниченного его ума, и рассуждает о таких тонкостях, которые не могли быть ему известны; однако ж, дабы исполнить долг службы, переводчик положил перевести ее; итак, он продолжает.

Санчо возвратился домой ликующий и веселый, настолько, что жена учуяла это веселье на расстоянии арбалетного выстрела и принуждена была спросить:

– Что с тобой, друг Санчо? Отчего ты такой веселый?

А Санчо ей на это ответил:

– Была б на то господня воля, женушка, я бы гораздо охотнее так не радовался.

– Я тебя не понимаю, муженек, – сказала жена, – не возьму в толк, что ты хочешь этим сказать: была бы, мол, на то господня воля, ты бы гораздо охотнее не радовался, – я хотя женщина темная, а все-таки не могу себе представить, как это можно быть довольным оттого, что не получаешь удовольствия.

– Слушай, Тереса, – сказал Санчо, – я весел оттого, что порешил возвратиться на службу к господину моему Дон Кихоту, который намерен в третий раз выехать на поиски приключений, и я опять поеду с ним – меня на это толкает нужда вместе с радостною надеждою: а вдруг я найду еще сто эскудо в возмещение уже истраченных, хотя, с другой стороны, меня огорчает разлука с тобой и с детьми, и вот когда бы господу было угодно, чтобы я зарабатывал на кусок хлеба без особых хлопот и у себя дома, не таскаясь по гиблым местам да по перепутьям, – а ведь богу это ничего не стоит, только бы захотеть, – веселью моему, конечно, была бы другая цена, а то к нему примешивается горечь разлуки с тобой. Вот и выходит, что я был прав, когда говорил, что, была б на то господня воля, я охотнее бы не радовался.

– Послушай, Санчо, – сказала Тереса, – с тех пор как ты стал правою рукою странствующего рыцаря, ты такие петли мечешь, что тебя никто не может понять.

– Довольно и того, жена, что меня понимает господь бог, а он все на свете понимает, – возразил Санчо. – Ну, ладно, оставим это. Вот что, матушка, тебе придется в течение трех дней хорошенько поухаживать за серым, дабы привести его в боевую готовность: удвой ему порцию овса, осмотри седло и прочие принадлежности – ведь мы не на свадьбу едем, нам предстоит кружить по свету, выдерживать стычки с великанами, андриаками и чудовищами, слышать шип, рык, рев и вопль, и все это, однако ж, сущие пустяки по сравнению с янгуасцами и заколдованными маврами.

– Да уж я вижу, муженек, – сказала Тереса, – что хлеб странствующих оруженосцев – это хлеб трудовой, и я буду бога молить, чтоб он поскорей избавил тебя от таких напастей.

– Я тебе прямо говорю, жена, – сказал Санчо, – не рассчитывай я в скором времени попасть в губернаторы острова, мне бы и жизнь стала не мила.

– Ну нет, муженечек, – возразила Тереса, – живи, живи, петушок, хоть и на языке типунок, и ты себе живи, и пусть черт унесет все губернаторства на свете: не губернатором вышел ты из чрева матери, не губернатором прожил до сего дня и не губернатором ты сойдешь, или, вернее, тебя положат в гроб, когда на то будет господня воля. Не все же на свете губернаторы – и ничего: люди как люди, живут себе и живут. Самая лучшая приправа – это голод, и у бедняков его всегда вдоволь, оттого-то они и едят в охотку. Но только ты смотри у меня, Санчо: коли ты ненароком выскочишь в губернаторы, то не забудь про меня и про детей. Помни, что Санчику уже исполнилось пятнадцать и ему в школу пора, настоятель, который ему дядюшкой

приходится, обещался направить его по духовной части. Еще помни, что дочка твоя, Марисанча, совсем даже не прочь выйти замуж, – мне сдается, что она думает о муже не меньше, чем ты о губернаторстве, да ведь и то сказать: для девушки лучше плохой муженек, нежели хороший дружок.

– Клянусь честью, – молвил Санчо, – коли господь пошлет мне что-нибудь вроде губернаторства, то я, милая женушка, выдам Марисанчу за такое высокое лицо, что ее станут величать не иначе как *ваши сиятельство*.

– Ну нет, Санчо, – возразила Тереса, – выдай ее за ровню, это будет дело лучше, а то ежели вместо деревянных башмаков она вырядится в туфельки, вместо дешевого платышка – в шелковое, да с фижмами, и вместо *Марика, ты*, все станут называть ее *донья такая-то* и *ваши сиятельство*, так девчонка растеряется, на каждом шагу станет попадать впросак, и тут-то по пряже сейчас видно будет толстое и грубое рядно.

– Молчи, дура, – сказал Санчо, – годика два-три ей надобно будет попривыкнуть, а там барские замашки и важность придутся ей как раз впору, а не придутся – что за беда? Только бы ей стать *вашим сиятельством*, а все остальное вздор.

– Сообразуйся, Санчо, со своим собственным званием, – сказала Тереса, – не лезь в знать и затверди пословицу: «Вытри нос соседскому сыну и бери его себе в зятя». Подумаешь, какое счастье – выдать Марию за какого-нибудь графчонка или там дворяннишку, чтобы он после шпынял ее и, чуть что, обзывал деревенщиной: отец, дескать, у тебя простой мужик, а мать пряха! Нет, друг ты мой, ни в жизнь! Для того ли я ее растила? Лучше, Санчо, привози-ка скорей деньжат, а выдать ее замуж – это мое дело: у меня на примете сын Хуана Точо, Лопе Точо, крепкий, здоровый малый, все мы его знаем, и девчонка, видать, ему приглянулась: вот с ним-то, потому как он ей ровня, она и будет счастлива, и будут они всегда у нас перед глазами, и заживем мы одной семьей, родители и дети, зятя и внуки, в мире и в ладу, и благословение божие вечно будет со всеми нами, и не смей ты мне отдавать ее в столицу или в какой-нибудь громадный дворец: там и люди ее не поймут и она никого не поймет.

– Ах ты, дурища, Вараввина жена! – вскричал Санчо. – Ну какая тебе корысть – не давать мне просватать дочку за такого человека, чтобы внуков моих все величали *ваши сиятельство*? Вот что, Тереса, мне частенько приходилось слышать от стариков: кто не сумел воспользоваться счастьем, когда оно само в руки давалось, тот пусть, мол, не сетует, коли оно прошло мимо. Вот и нехорошо будет, если мы теперь затворим дверь, когда оно само к нам стучится: ветер дует попутный – пускай же он нас и несет.

Подобные обороты речи, а также иные из тех выражений, которые Санчо употребит ниже, и вынудили переводчика этой истории объявить, что он признаёт эту главу за вымышленную.

– Говори, тварь неразумная, – продолжал Санчо, – чем же это плохо, ежели я приберу к рукам какое-нибудь выгодное губернаторство и через то мы все выйдем в люди? Дай Марисанче подцепить, кого я пожелаю, и ты увидишь, что все тебя станут звать *доньей Тересой Панса*, и в церкви ты, назло и на зависть нашим дворянкам, будешь восседать на коврах, да на подушках, да на шелку. А нет, так и торчи на одном месте, ни туда ни сюда, как все равно церковная статуя! И довольно разговоров, – как ты себе хочешь, Санчика будет графиней.

– Ты соображаешь, что говоришь, муженек? – воскликнула Тереса. – Да ведь я чего боюсь: что это самое графство погубит мою дочку. Делай, как знаешь, выдавай ее хоть за герцога или за принца, но только я прямо говорю: не будет на то воли моей и согласия. Я, друг ты мой, всегда была за равенство и терпеть не люблю, когда здорово живешь начинают важничать. При крещении мне дали имя Тереса, имя простое и чистое, безо всяких этих примесей, штукovin и финтифлюшек – всяких там *донов* да *распродонов*, отец мой – по фамилии Каскахо, а меня, как я есть твоя жена, зовут Тересой Панса (хотя, по правилам, меня бы следовало звать Тересой Каскахо, ну да одно дело – закон, а другое – король), и я своим именем довольна, и не нужно мне никакой *доньи*, а то это такой тяжелый довесок, что мне не под силу будет его

носить, и не хочу я, чтобы про меня шушукались, когда я выйду расфуфыренная, как графиня или как губернаторша, – ведь уж непременно скажут: «Глядите, как зазналась наша чумичка! Вчера еще не разгибая спины лен чесала, а в церковь ходила, накрывшись подолом вместо накидки, а нынче, ишь ты, – фижмы да застежки, и нос дерет, как будто она знает нас не знает». Пока господь бог не лишил меня не то семи, не то пяти чувств, – одним словом, всех, сколько их у меня должно быть, – я себя до такого сраму не доведу. Ты, сударь, можешь становиться губернатором или каким-то там островом и напускать на себя важность, сколько душе угодно, а моя дочка и я – клянусь памятью моей матери – никуда из нашего села не двинемся: женщине честной – за прялкой место, а девушке скромной своя лачуга – хоромы. Поезжай со своим Дон Кихотом за приключениями, а нам оставь наши злоключения; коли будем жить по-божьи, так и с нами что-нибудь доброе приключится, а вот откуда у твоего господина появился *дон* — это мне, ей-ей, чудно, потому ни отцы его, ни деды *донами* не были.

– Нет, в тебя просто бес вселился, – объявил Санчо. – Господь с тобой, жена, чего ты только не нагородила безо всякого смысла и толка? Ну что общего между застежками, финти-флюшками, поговорками, важничаньем и тем, что я тебе сказал? Слушай ты, невежда и тупица (иначе тебя не назовешь, потому как ты речей моих не разумеешь и не понимаешь своего счастья): если б я сказал, что моя дочь должна прыгнуть с башни или пойти скитаться по белу свету наподобие инфанты не то доньи Собаки, не то доньи Урраки, – я уж позабыл, как ее звали, – вот тогда ты вправе была бы со мной не согласиться, но если я раз-раз и готово, так что ты ахнуть не успеешь, пришпилю ей *донью* и *ваше сиятельство* и из грязи выведу в князи, и будет она ходить в шелку да в бархате, то отчего бы тебе не согласиться и что тебе еще надобно?

– Знаешь, муженек, отчего я не согласна? – отвечала Тереса. – Оттого, что, как говорится, «платье тебя одевает, платье тебя и раздевает». Оттого, что люди пробегут по бедняку глазами – и ладно, а на богача они глазищи-то свои так и пялят, и ежели этот богач был когда-то бедняком, тут-то злые языки и давай чесать языки, а таких у нас в селе – куда ни плюнь, как все равно пчел в улье.

– Постой, Тереса, – прервал ее Санчо, – слушай, что я тебе сейчас скажу, – такого ты еще отроду не слыхала, да это и не мои слова: то, что я намерен тебе сказать, это изречения отца-проповедника, который в прошлом году великим постом в нашем селе проповедовал. И вот этот самый проповедник, сколько я помню, говорил так: все, что, мол, является нашему взору в настоящее время, гораздо лучше укладывается и помещается и гораздо сильнее запечатлевается в памяти нашей, нежели то, что было когда-то.

Вышеприведенные речи Санчо составляют вторую причину, по которой переводчик признаёт эту главу за вымышленную, ибо они превосходят понятие Санчо. А Санчо между тем продолжал:

– Отсюда следствие, что когда мы видим особу разряженную, в дорогом уборе и с нею множество слуг, то, словно побуждаемые некоей силой, мы невольно проникаем к ней уважением, хотя в тот же миг память подсказывает нам, что прежде эту особу мы лицезрели в низкой доле, и все-таки этого позора, чем бы он ни был вызван: то ли бедностью, то ли происхождением, – коли он уже в прошлом, – не существует, а существует лишь то, что мы видим в настоящую минуту. И если тот, кого судьба из нечистоты его ничтожества (это подлинное выражение проповедника) вознесла на вершины благополучия, окажется человеком благовоспитанным, щедрым и со всеми любезным и не станет тягаться с древнею знатью, можешь быть уверена, Тереса, что никто и не вспомнит, кем он был прежде, а будут чтить его таким, каков он есть теперь, кроме разве завистников, ну да от них никакая счастливая судьба не спасется.

– Не понимаю я тебя, муженек, – сказала Тереса, – поступай, как знаешь, и не забивай мне голову своим краснобайством и пустословием. И если уж тебе так забезрассудилось...

– *Заблагорассудилось* должно говорить, жена, а не *забезрассудилось*, – поправил Санчо.

– Не спорь со мной, муженек, – возразила Тереса, – я говорю, как мне бог на душу положит, безо всяких этих затей. Так вот что я хочу сказать: если уж тебе так далось это губернаторство, то возьми с собой своего сына Санчо и прямо с этих пор приучай его губернаторствовать – ведь это хорошо, когда дети идут по стопам отца и обучаются его ремеслу.

– Когда я буду губернатором, – объявил Санчо, – я пошлю за ним почтовых лошадей, а тебе пришлю денег, каковые у меня всегда найдутся, ибо всегда найдутся охотники ссудить губернатору, когда тот сидит без гроша. Сына же ты выряди так, чтобы не было заметно, кто он таков, а было видно, каким ему надлежит быть.

– Пришли только денег, – молвила Тереса, – а уж он у меня будет разодет в пух и прах.

– Ну, словом, – заключил Санчо, – мы с тобой уговорились, что дочка наша должна быть графиней.

– В тот день, когда она станет графиней, – возразила Тереса, – я буду считать, что я ее похоронила. Но только я еще раз скажу: поступай, как тебе угодно, такая наша женская доля – во всем подчиняться мужу, хотя бы и безмозглому.

И тут она залилась такими горькими слезами, точно Санчика и впрямь умерла и уже похоронена. Тогда Санчо в утешение сказал ей, что хотя он непременно сделает свою дочь графиней, но только отложит это на возможно более долгий срок. На том и кончилась их беседа, и Санчо возвратился к Дон Кихоту, чтобы окончательно условиться об отъезде.

Глава VI

О чем обменялся мнениями Дон Кихот со своею племянницею и ключницею, и это одна из самых важных глав во всей истории

Пока Санчо Панса и его супруга Тереса Каскахо вели между собой вышеприведенный бестолковый разговор, племянница и ключница Дон Кихота также не оставались праздными: по многим признакам догадавшись, что дядя их и господин, томимый жаждой рыцарских, как они полагали, *заблуждений*, а не походов, намерен в третий раз от них вырваться, они всеми возможными способами пытались отвлечь его от столь вредной мысли, но они только вопияли в пустыне и ковали холодное железо. Со всем тем ключница, ведшая с Дон Кихотом долгие препирательства, между прочим сказала ему:

– Право, государь мой, если вы не усидите на месте и опять начнете скитаться по горам и долам, словно неприкаянный, и искать этих самых, как их называют, *облегчений*, а я их называю *огорчениями*, то я пожалуюсь богу и королю и буду кричать на крик и не своим голосом, чтобы они вам не позволили.

Дон Кихот же ей на это сказал:

– Ключница! Мне неизвестно, что господь бог ответит на твои жалобы, как неизвестно мне и то, что ответит его величество, знаю только, что, будь я королем, я бы не стал отвечать на всю эту уйму нелепых прошений, ежедневно на имя короля поступающих, ибо из всех обременительных обязанностей, которые лежат на его величестве, самая тяжелая – это всех выслушивать и всем отвечать, вот почему мне бы не хотелось, чтобы ему надоедали с моими делами.

Ключница же на это сказала:

– А что, сеньор, при дворе его величества есть рыцари?

– Есть, – отвечал Дон Кихот, – и даже много, и на то есть причина, ибо они служат блестящим украшением двора и усугубляют величие королевского престола.

– Так почему бы и вам, ваша милость, не послужить королю, своему господину, сидя смиренно при дворе?

– Вот что, дорогая моя, – отвечал Дон Кихот, – не все рыцари могут быть придворными, как не все придворные могут и должны быть странствующими рыцарями: в жизни бывают нужны и те и другие. И хоть и все мы – рыцари, однако ж есть между нами огромная разница, ибо придворные, не выходя из своих покоев и не переступая порога дворца, разгуливают по всему свету, глядя на карту, и это им не стоит ни гроша, и они не терпят ни зноя, ни стужи, ни голода, ни жажды, тогда как мы, рыцари странствующие в полном смысле этого слова, в жар, в холод, в бурю, в непогоду, ночью и днем, пешие и конные из конца в конец самолично обходим дозором землю, и мы знаем врагов не только по картинкам, но и на деле, и при каждой встрече и при первом случае мы на них нападаем, не считаясь с правилами поединка и со всякими пустяками, например: не короче ли у одного из противников копье или шпага, и что у недруга спрятано на груди – реликвия или же это какой-нибудь скрытый подвох, и как поделить между собой солнечный свет, и прочими тому подобными церемониями, которые обыкновенно соблюдаются при единоборствах и которые ты не знаешь, а я знаю. И еще тебе надобно знать вот что: добрый странствующий рыцарь при виде хотя бы и десяти великанов, чьи головы не только касаются облаков, но и скрываются за ними, и у каждого из которых вместо ног две преогромные башни, руки напоминают мачты крупных и мощных судов, а глаза, как мельничные жернова, и горят, как стеклоплавильные печи, отнюдь не устрашается, – напротив того, приосанившись, с душою, полною отваги, он бросается на них, бьется с ними, а буде окажется возможным, то в мгновение ока одолевает и разбивает наголову, хотя бы они были облачены в чешую какой-то особенной рыбы – чешую, говорят, будто бы тверже алмаза, – а вместо шпаг вооружены острыми дамасской стали саблями или железными палицами с наконецни-

ками также из стали, каковые палицы мне лично приходилось видеть не однажды. Все это, любезная моя ключница, я говорю для того, чтобы ты уяснила себе разницу между теми и другими рыцарями. И по справедливости государи должны были бы больше ценить второй, вернее первый, разряд – разряд рыцарей странствующих, среди коих, гласит история, мы встречаем и таких, которые спасали не одно, а множество королевств.

– Ах, сеньор! – воскликнула тут племянница. – Да поймите же вы наконец, ваша милость: все, что рассказывают о странствующих рыцарях, это сплошные враки и побасенки, а книги про них следовало бы сжечь или уж, по крайности, накинуть на них санбенито, а еще можно ставить на них особые знаки, чтоб всем было ясно, что это бессовестные смутьяны и бунтовщики.

– Клянусь создателем, – воскликнул Дон Кихот, – что, не будь ты моею родною племянницей, то есть дочерью единоутробной моей сестры, я бы так тебя проучил за кощунственные твои слова, что слух о том прошел бы по всему свету. Возможно ли, чтобы девчонка, которая и с коклюшками-то еще не умеет как должно обращаться, осмеливалась трепать языком и бранить книги о странствующих рыцарях? Что сказал бы сеньор Амадис, если б он это услышал? Впрочем, он, конечно, простил бы тебя, ибо то был самый кроткий и учтивый рыцарь своего времени и к тому же еще великий покровитель девиц, но если б услышал кто-нибудь другой, то тебе пришлось бы худо, ибо не все рыцари равно учтивы и обходительны, есть среди них невежи и грубияны. Ведь не все именующие себя рыцарями являются таковыми в полной мере: иные сделаны из настоящего золота, иные – из поддельного. С виду все как будто бы рыцари, однако ж не все выдерживают испытание пробным камнем истины. Есть люди низкого звания, которые из кожи вон лезут, чтобы сойти за рыцарей, есть и родовитые рыцари, которые готовы наизнанку вывернуться, чтобы сойти за простолюдинов: первые стремятся вверх то ли из честолюбия, то ли из добрых побуждений, вторые стремятся вниз то ли по слабости, то ли по своей порочности, и нужно обладать тонким умом, дабы различать эти два рода рыцарей, столь сходных по названию и столь разных по образу действий.

– Боже ты мой! – воскликнула племянница. – Вы так много знаете, дядюшка, что в случае нужды могли бы взойти на кафедру и проповедовать где угодно, и со всем тем слепота ваша столь велика и затмение столь очевидно, что вы уверены в своей удали, будучи на самом деле старым, в своей силе – будучи хилым, что вы выпрямляете кривду, меж тем как сами вы согнулись под бременем лет, а главное в том, что вы – рыцарь и кавальеро, на самом деле не будучи таковым, ибо хотя идалго и могут стать кавальеро, но ведь не бедные же!..

– В твоих словах, племянница, есть большая доля правды, – заметил Дон Кихот, – касательно же родословных я мог бы рассказать тебе такие вещи, что ты далась бы диву, но, дабы не мешать божеского с человеческим, я обойду их молчанием. Вот что, дорогие мои: все существующие в мире родословные можно свести (слушайте меня со вниманием) к четырем видам, а именно: есть роды, у которых начало было скромное, но мало-помалу они ширятся и распространяются и наконец достигают величия наивысшего; у других начало было высокое, и они его блюли неукоснительно, и продолжают блюсти, и удерживаются и поныне на той высоте, с которой начали; у третьих начало было столь же высокое, однако же впоследствии они сузились наподобие пирамиды, – они постепенно оскудевали, впадали в ничтожество, а затем и вовсе сходили на нет, подобно вершине пирамиды, ибо по отношению к своему фундаменту или же основанию она есть ничто; и есть роды (таких, должно заметить, большинство), которые не могут похвалиться ни счастливым началом, ни приличной серединой, и конец их будет столь же бесславен, – это конец всех плебеев и людей обыкновенных. Примером первого вида, то есть скромного начала и неуклонного возвышения, служит Дом Оттоманов: основание ему положил скромный, простой пастух, а ныне мы видим, какой высоты достигла эта династия. Примером второго вида, то есть высокого начала и сохранения его без приумножения, могут служить многие государи, к которым престол перешел по наследству и которые свято охраняют его, не расширяя, но и не уменьшая своих владений и по миролюбию своему оставаясь в раз

навсегда установленных пределах. Примеры высокого начала и постепенного оскудевания суть многочисленны, ибо все фараоны и Птолемеи египетские, цезари римские и вся прорва (если можно так выразиться) бесчисленных государей, монархов и владетельных князей мидийских, ассирийских, персидских, греческих и варварских, все эти царские и княжеские роды впали в ничтожество и сошли на нет – как сами эти роды, так и родоначальники, – потомков их ныне сыскать уже невозможно, а если кого и сыщешь, так тот, уж верно, пребывает в низком и жалком состоянии. О родах плебейских я могу сказать одно: единственное их назначение – увеличивать собою число живущих на свете, и многочисленность их не стоит ни славы, ни похвал. Из всего сказанного, дурочки вы мои, вам надлежит сделать тот вывод, что с этими родами путаницы не оберешься и что только те роды истинно велики и славны, коих представители доказывают это своими добродетелями, богатством своим и щедростью. Говорю: добродетелями, богатством и щедростью, ибо злочестивый властитель – это все равно что властительный злочестивец, а нещедрый богач – это все равно что нищий скупец: ведь счастье обладателя богатств заключается не в том, чтобы владеть ими, а в том, чтобы расходовать, и расходовать с толком, а не как попало. Бедному же рыцарю остается только один путь, на котором он может показать, что он рыцарь, то есть путь добродетели, а для того ему надлежит быть приветливым, благовоспитанным, учтивым, обходительным и услужливым, не высокомерным, не заносчивым и не клеветником, главное же, ему надлежит быть сострадательным, ибо, с веселым сердцем подав бедному два мараведи, он обнаружит щедрость не меньшую, нежели тот, который о своем благодеянии раззванивает во все колокола, и коли он будет всеми перечисленными добродетелями украшен, то, кто бы с ним ни столкнулся, всякий, даже не имея о нем никаких сведений, признает и почтет его за человека благородного происхождения, а коли не признает, то это будет в высшей степени странно, ибо похвала служит неизменно наградою добродетели, и люди добродетельные не могут не быть хвалимы. На свете есть, дети мои, два пути, которые ведут к богатству и почету: один из них – поприще ученое, другой – военное. Я человек скорее военный, нежели ученый, и, судя по моей склонности к военному искусству, должно полагать, родился под знаком Марса, так что я уже как бы по необходимости следую этим путем и буду им идти, даже если бы весь свет на меня ополчился, и убеждать меня, чтобы я не желал того, чего возжелало само небо, что велит судьба, чего требует разум и, главное, к чему устремлена собственная моя воля, это с вашей стороны напрасный труд, ибо хотя мне доподлинно известны неисчислимые трудности, с подвигом странствующего рыцарства сопряженные, однако ж мне известны и безмерные блага, которые через него достаются; и еще я знаю, что стезя добродетели весьма узка, а стезя порока широка и просторна, и знаю также, что цели их и пределы различны, ибо путь порока, широко раскинувшийся и просторный, кончается смертью, путь же добродетели, тесный и утомительный, кончается жизнью, но не тою жизнью, которая сама рано или поздно кончается, а тою, которой не будет конца; и еще я знаю, что, по выражению знаменитого нашего кастильского стихотворца,

По горным кручам тянется дорога
К высокому бессмертия чертогу, —
Для тех, кто ведал горе и тревогу.

– Что же я за несчастная! – воскликнула племянница. – Мой дядя к довершению всего еще и поэт! Все-то вы знаете, все-то вы постигли, – ручаюсь, что, пожелай вы только стать каменщиком, вам так же легко было бы построить дом, как другому смастерить клетку.

– Уверю тебя, племянница, – сказал Дон Кихот, – что когда бы помыслы о рыцарстве не владели всеми моими чувствами, то не было бы ничего такого, чего бы я не сумел сделать, и не было бы такой затейливой вещицы, к которой я не приложил бы руку, как, например, клетки или зубочистки.

В это время послышался стук в дверь, и на вопрос, кто там, Санчо Панса ответил, что это он; и, узнав его по голосу, ключница в ту же минуту бросилась вон из комнаты, только чтобы его не видеть, – так он был ей несносен. Дверь Санчо Пансе отворила племянница, сеньор Дон Кихот принял его с распростертыми объятиями, потом они заперлись, и тут у них началось собеседование ничуть не хуже предыдущего.

Глава VII

*О чем говорили между собой Дон Кихот и его оруженосец, равно как и о других досто-
славных происшествиях*

Ключница как увидела, что Дон Кихот заперся с Санчо Пансою, так в ту же секунду смекнула, о чем они могут вести переговоры; и, сообразив, что на этом совещании будет постановлено предпринять третий поход, она схватила свою накидку и, полная печали и беспокойства, побежала к бакалавру Самсону Карраско, ибо ей казалось, что тот, как человек красноречивый, с которым ее господин к тому же только что подружился, сможет уговорить его оставить столь нелепую затею. Бакалавр в это время прохаживался у себя во дворе, и, увидев его, ключница, потная и задыхающаяся от волнения, припала к его стопам. Карраско же, видя, что она так удручена и встревожена, спросил:

– Что с вами, сеньора ключница? Что с вами делается? Можно подумать, что у вас душа с телом расстается.

– Со мной-то ничего, голубчик мой, сеньор Самсон, а вот господин мой утекать собирается, непременно утечет!

– Откуда же у него течет? – спросил Самсон. – Что, он разбился, что ли?

– Он сам утечет через ворота своего сумасшествия, – отвечала ключница. – Я хочу сказать, милейший сеньор бакалавр, что он вознамерился еще раз, и это будет уже в третий раз, постранствовать по белу свету и поискать этих самых, как он их называет, *облегчений*, – не могу взять в толк, почему он их так называет. В первый раз, когда нам его вернули, он был весь избит и лежал поперек осла. Во второй раз его посадили и заточили в клетку и привезли домой на волах, а он себе внушил, что его околдовали. И в таком он был жалком виде, что его бы родная мать не узнала: бледный, худой, глаз совсем не видать. Ведь чтобы маленько его подправить, я одних яиц шесть сотен с лишком в него всадила, – беру во свидетели господ бога, весь наш околоток да еще моих кур: мои куры могут это подтвердить.

– В этом я совершенно уверен, – заметил бакалавр, – они у вас такие славные, такие жирные и такие воспитанные, что скорей лопнут, нежели скажут неправду. Итак, сеньора ключница, все дело и вся беда в том, что замыслил сеньор Дон Кихот, и этого именно вы и опасаетесь?

– Именно этого, сеньор, – подтвердила ключница.

– В таком случае не беспокойтесь, – объявил бакалавр, – ступайте с богом домой и приготовьте мне чего-нибудь горяченького закусить, а дорогой прочтите молитву святой Аполлиналии, если вы ее знаете, я же сейчас к вам прибуду, и все чудо как хорошо уладится.

– Ах ты, какая досада! – вскричала ключница. – Вы говорите, ваша милость, молитву святой Аполлиналии прочесть? Да ведь это если б у моего господина зубы болели, а у него голова не работает.

– Я знаю, что говорю, сеньора ключница. Идите и не вступайте со мною в споры, вы же знаете, какой я оратор, так что вам все равно меня не переорать, – примолвил Карраско.

После этого ключница удалилась, а бакалавр тут же отправился к священнику поговорить с ним насчет того, о чем в свое время будет сказано.

Между тем Дон Кихот и Санчо, оставшись вдвоем, обменивались мнениями, которые с великою точностью и правдивостью в нашей истории приводятся. Санчо сказал своему господину:

– Сеньор! Я уже засветил мою жену, так что она отпустит меня с вашей милостью, куда вам будет угодно.

– *Просветил* должно говорить, Санчо, а не *засветил*, – заметил Дон Кихот.

– Раза два, если не ошибаюсь, – сказал Санчо, – я просил вашу милость, чтобы вы меня не поправляли, если вам понятно, что я хочу сказать, а если не понимаете, скажите только: «Санчо, или там черт, дьявол, я тебя не понимаю». И вот если я не смогу объяснить, тогда и поправляйте: ведь я человек поладистый...

– Я тебя не понимаю, Санчо, – прервал его тут Дон Кихот, – я не знаю, что значит: я человек *поладистый*.

– *Поладистый* – это значит: *какой уж я есть*, – пояснил Санчо.

– Сейчас я тебя еще меньше понимаю, – признался Дон Кихот.

– Коли вы меня не понимаете, то я уж и не знаю, как вам втолковать, не знаю – и дело с концом, – отрезал Санчо.

– Стой, стой, я уже догадался, – молвил Дон Кихот, – ты хочешь сказать, что ты такой *покладистым*, мягкий и уступчивый, что будешь во всем меня слушаться и поступать, как я тебе скажу.

– Бьюсь об заклад, – сказал Санчо, – что вы еще попервоначально поняли меня и постигли, а только хотели сбить с толку, чтобы я еще невесть какой чуши напорол.

– Возможно, – сказал Дон Кихот. – Ну, так что же все-таки говорит Тереса?

– Тереса говорит, – отвечал Санчо, – чтобы я охулки на руку не клал, уговор, мол, дороже денег, а после, мол, снявши голову, по волосам не плачут, и лучше, дескать, синица в руках, чем журавль в небе. И хоть я и знаю, что женщины болтают пустяки, а все-таки не слушаю их одни дураки.

– И я то же говорю, – согласился Дон Кихот. – Ну, друг Санчо, дальше: нынче у тебя что ни слово – то перл.

– Дело состоит вот в чем, – продолжал Санчо. – Ваша милость лучше меня знает, что все люди смертны, сегодня мы живы, а завтра померли, и так же недалек от смерти птенец желторотый, как и старец седобородый, и никто не может поручиться, что проживет на этом свете хоть на час больше, чем ему положено от бога, потому смерть глуха, и когда она стучится у ворот нашей жизни, то вечно торопится, и не удержать ее ни мольбою, ни силою, ни скипетром, ни митрою, – такая о ней, по крайности, молва и слава, и так нам говорят с амвона.

– Все это справедливо, – заметил Дон Кихот, – только я не понимаю, к чему ты клонишь.

– Клоню я к тому, – отвечал Санчо, – чтобы ваша милость мне точно сказала, сколько вы могли бы положить мне в месяц жалованья, пока я у вас служу, и не можете ли вы положенное жалованье выплачивать наличными, а то служить за награды я не согласен, потому они или поздно приходят, или не в пору, или вовсе не приходят, а со своими кровными я кум королю. Словом, мало ли, много ли, а я хочу знать, сколько я зарабатываю: курочка по зернышку клюет и тем сыта бывает, а потом: немножко да еще немножко, ан, глядь, и множко, и ведь все это в дом, а не из дому. Конечно, если так случится (хоть я уже не верю и не надеюсь), что ваша милость пожалует мне обещанный остров, то не такой же я неблагодарный и не такие у меня загребущие руки, чтобы по исчислении точной суммы дохода с этого острова я не согласился соответствующую долю придержать.

– Разумеется, друг Санчо, *придержать* для себя всегда выгоднее, чем *удержать* в пользу кого-нибудь другого, – заметил Дон Кихот.

– Ах да, – сказал Санчо, – конечно, мне надлежало сказать: *удержать*, а не *придержать*, ну, ничего, ведь вы, ваша милость, и так меня поняли.

– Понял, понял, – сказал Дон Кихот, – все твои тайные мысли насквозь вижу и знаю, в чей огород летят камешки бесчисленных твоих пословиц. Послушай, Санчо, я с удовольствием положил бы тебе жалованье, когда бы хоть в каком-нибудь романе о странствующих рыцарях я сыскал пример, который, как в щелочку, дал бы мне подглядеть и показал, сколько обыкновенно зарабатывали оруженосцы в месяц или же в год. Однако я перечитал все или почти все романы и не могу припомнить, чтобы какой-нибудь странствующий рыцарь назначал своему

оруженосцу определенное жалованье, – я точно знаю, что все оруженосцы служили за награды, и в один прекрасный день их сеньоры в случае удачи жаловали их островом, или же чем-либо равноценным, или, по малой мере, титулом и званием. Если вы, Санчо, этими надеждами и расчетами удовлетворитесь и захотите возвратиться ко мне на службу, то милости просим, а чтобы я стал нарушать и ломать древний обычай странствующего рыцарства, это вещь невозможная. Так что, любезный Санчо, ступайте домой и объявите вашей Тересе о моем решении, и если и она и вы согласитесь служить мне за награды, то *bene quidem*⁴, если же нет, то мы расстанемся друзьями: было бы зерно на голубятне, а голуби-то найдутся. И еще примите в рассуждение, сын мой, что добрая надежда лучше худого имения и хороший иск лучше худого платежа. Выражаюсь я так для того, Санчо, чтобы показать вам, что и я не хуже вашего могу сыпать пословицами. В заключение же я хочу вам сказать и скажу вот что: если вам не угодно пойти ко мне на службу за награды и разделить мою участь, так оставайтесь с богом, но уж потом пеняйте на себя, я же сыщу себе оруженосца послушнее и усерднее вас и не такого нескладного и не такого болтливого, как вы.

Твердое решение Дон Кихота так поразило Санчо, что у него потемнело в глазах и крылья его храбрости опустились, ибо до этого он был уверен, что его господин не выступит без него в поход ни за какие блага в мире; и он все еще пребывал в состоянии растерянности и озабоченности, когда вошел Самсон Карраско, а за ним ключница и племянница, коим любопытно было послушать, как бакалавр станет уговаривать Дон Кихота не ездить на поиски приключений. Известный шутник Самсон приблизился к Дон Кихоту, обнял его, как и в прошлый раз, и заговорил громким голосом:

– О цвет странствующего рыцарства! О лучезарное светило воинства! О честь и зеркало народа испанского! Молю всемогущего бога, как если б он стоял предо мною, чтобы тот или те, кто тщится помешать и воспрепятствовать третьему твоему выезду, заблудились в лабиринте собственных желаний и так и не дождались исполнения того, что им более всего желается.

Затем он обратился к ключнице:

– Сеньора ключница смело может не молиться более святой Аполлинарии, ибо мне ведомо, что таково бесповоротное решение небесных сфер, чтобы сеньор Дон Кихот продолжал осуществлять высокие свои и бесподобные замыслы, и меня бы замучила совесть, когда б я не побуждал и не уговаривал этого рыцаря прервать наконец бездействие и скованность доблестной его длани и выказать величие бодрейшего духа его, ибо промедление сие лишает его возможности выпрямлять кривду, помогать сирым, охранять честь девиц, оказывать покровительство вдовицам, служить опорой замужним и все прочее в этом роде, что входит в круг обязанностей ордена странствующего рыцарства, что ему положено, что ему приличествует и подобает. Итак, прекрасный и отважный сеньор Дон Кихот, пусть милость ваша и ваше величие отправится в путь не завтра, а сегодня же, и если вам чего-либо для этого недостает, то к вашим услугам я сам и мое достояние, и если ваше великолепие нуждается в оруженосце, то я со своей стороны почел бы за величайшее для себя счастье послужить вам.

Тут Дон Кихот обратился к Санчо и сказал:

– Не говорил ли я тебе, Санчо, что в оруженосцах у меня недостатка не будет? Смотри, кто предлагает мне свои услуги: не кто иной, как несравненный бакалавр Самсон Карраско, первый забавник и шалун среди саламанкских школяров, здоровый телом, быстрый в движениях, не болтливый, умеющий терпеть зной и стужу, голод и жажду, обладающий всеми качествами, какие от оруженосца странствующего рыцаря требуются. Однако ж небеса не допустят, чтобы я ради собственного удовольствия подрыл этот столп учености, разбил этот сосуд познаний и подсек высокую эту пальму изящных и вольных искусств. Пусть же этот новый Самсон остается у себя на родине и, прославив ее, прославит также седины престарелых родителей

⁴ Превосходно (*лат.*).

своих, я же любым удовольствием оруженосцем, коли Санчо не соблаговолит меня сопровождать.

– Нет, соблаговолю, – растроганный, весь в слезах, объявил Санчо, а засим продолжал: – Обо мне никто не скажет, государь мой: «Поел-попил – и дружба врозь», в моем роду неблагодарных не было, все на свете, особливо в нашем селе, знают, кто такие были Панса, от коих я происхожу, да и потом, по многим вашим добрым делам и еще более добрым словам я постиг и сообразил, что ваша милость намерена меня наградить. Если же я пустился в вычисления касательно жалованья, то только в угоду жене, потому когда ей что втемяшится, то уж она гвоздит, как все равно молоток по обручам бочки, чтоб было по ее. Однако ж мужчине полагается быть мужчиной, а женщине – женщиной, и коли по таким признакам, которых я не могу отрицать, я мужчина, то я желаю быть мужчиной и у себя дома, как она там себе хочет, а потому вашей милости требуется только составить завещание с опиской, так чтобы его нельзя было оспорить, – и скорее в путь, чтобы отпустить душу сеньора Самсона на покаяние: ведь он говорит, что совесть его загрызет, если он не двинет вашу милость, – или как это говорится: подвигнет, что ли? – в третий раз постранствовать по белу свету. Я же снова даю вашей милости обещание служить вам верой и правдой, ничуть не хуже, а пожалуй, даже и лучше всех оруженосцев странствующих рыцарей, сколько их ни было прежде и сколько их ни есть теперь.

Подивился бакалавр выражениям и оборотам речи Санчо Пансы, ибо хотя он и прочел первую историю его господина, однако ж никак не мог предполагать, что Санчо подлинно такой забавный, каким его там изображают; когда же Санчо вместо: *завещание с притиской* сказал: *завещание с опиской*, то бакалавр поверил всему, что о нем читал, и, укрепившись во мнении, что перед ним один из самых круглых дураков нашего столетия, подумал, что таких двух сумасшедших, каковы эти господин и слуга, еще не видывал свет. В конце концов Дон Кихот и Санчо обнялись и снова стали друзьями, и по совету и с благословения высокоумного Карраско, на которого они смотрели теперь, как на оракула, было решено, что отъезд состоится через три дня, в течение каковых можно успеть запастись всем необходимым в дорогу и подыскать шлем с забралом, без коего Дон Кихот, по его словам, никак не мог обойтись. Самсон взялся раздобыть его – он знал, что таковой имеется у его приятеля и что тот ему не откажет в просьбе, потому что сталь этого шлема не только не сверкала и не была начищена до блеска, но, напротив, потемнела от ржавчины и плесени. Проклятиям, коими ключница и племянница осыпали бакалавра, не было конца; обе женщины рвали на себе волосы, царапали лица и, как заправские плакальщицы, оплакивали отъезд Дон Кихота, словно то был не отъезд, но кончина. О цели же, которую преследовал Самсон, уговаривая Дон Кихота еще раз выступить в поход, будет сказано дальше, – так его подучили священник и цирюльник, с коими он держал совет до этого.

Коротко говоря, в течение трех дней Дон Кихот и Санчо запаслись всем, что почитали для себя необходимым; и после того как Санчо успокоил свою супругу, а Дон Кихот – племянницу и ключницу, однажды под вечер, тайком от всех, за исключением бакалавра, который вызвался проводить их с полмили, двинулись они по дороге к Тобосо: Дон Кихот – на добром своем Росинанте, а Санчо – все на том же осле, причем дорожная сума у Санчо была набита снедью, а кошелек деньгами, которые Дон Кихот вручил ему на всякий случай. Самсон обнял Дон Кихота и попросил уведомлять о всех его удачах и неудачах, дабы он, Самсон, возрадовался неудачам, удачам же, как того, мол, требуют законы истинной дружбы, опечалился. Дон Кихот обещал; Самсон направил стопы свои в село, а двое всадников продолжали свой путь по направлению к великому городу Тобосо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.